

Н. ГОРЛАНОВА.
О. СОКОЛОВА. Е. СЕМАШКО.
П. СПУЦКИНА. М. ВЕТРОВА.
Н. ДОРОШКО-БЕРМАН. М. РЕМИЗОВА



...ТРАХ
КЪ
ЗЕМНОЙ

АБСТИНЕНТКИ

АБСТИНЕНТКИ

АБСТИНЕНТКИ

Составитель Ольга Соколова

Авторы: Нина Горланова, Ольга Соколова, Наталья Дорошко
и др.

Абстиненция — это явление непереносимости чего-либо — может быть это трезвенники или некурящие, а возможно, они просто в метро ездить не могут, плохо им там, и все. Аллергия своего рода. И название книги весьма символично. Ведь для нашей реальности трезвенник, например, явление вообще очень сложное и непонятное, это все равно, что несуществующий или десант от инопланетян.

Но хотя и мало у нас таких «невидимок», но все-таки они есть и даже книжку составили и издали, в которой психологическая интеллектуальная проза довольно удачно сочетается с элементами детектива и фантастики, повествуя об увлекательнейших и даже авантурных приключениях и превращениях подобных «невидимок» в нашей реальности.

Гуманитарный фонд им. А. С. Пушкина.

Серия Андеграунд. М., 1991, 170 с.

Художественное оформление: Э. Богатых, А. Миронов.

А $\frac{4700000000 - 1 - 367/45}{01/03/ - 91}$

АБСТИНЕНТКИ

или

...ТРАХ ЗЕМНОЙ

От составителя или составительницы

У авторов этой книги отсутствует столь четко выраженный концепт, как например, в сб. «Видимость нас», того же издательства «Гуманитарный фонд». Нет прямых аналогий, как например, у Вл. Сорокина в «Кисете» или у Байтова Ник. в «Городе солнца».

Взаимодействие с «мифом», т. е. с совдеистительностью, которой он стал для многих, гораздо слабее, менее тенденциозно, поэтому и писать о книге чуть-чуть сложнее. Может быть, ввиду непрямого участия в мифе, отсутствия четких аналогий, и публиковаться этим авторам было сложнее, тем более в период перестройки.

Нет, не пишем мы сочинения на заданную тему — и не хвалим, и не ругаем, а значит, и совсем уже «не свои». К противникам проще привыкать, все-таки общая тема есть для разговора, наболевшая...

И хотя авторы книги «Абстинентки» — все сплошь женщины, и несмотря на то, что не совсем, так сказать свои, прозу их чисто «женской», т. е. в том, дурном, ставшем нарицательным значении, все-таки никак не обзовешь.

И сюжет у них какой-то жестокий и современный, а если фантастика, то социальная, правда, реализм вот подкачал, потому что здесь, скорей, гиперреализм, так как женщины вообще склонны все преувеличивать. Да, еще недостаток, начинается как-то сразу нехорошо, по-женски, с «разборки», с «Протокола» (одного областного литпроцесса) Нины Горлановой.

И тут перед нами какая-то новая реальность, и хотя так уж напрямик с мифом и нет аналогии, но есть связи — очень противные, особенно если ты, отчасти, абстинентка, как Саша Лебедева из вышеупомянутого «Протокола». При этом, мы не вовсе против абсента. У нас к другому абстиненция...

Какое это другое? Читайте наш сборник и все узнаете.

Ольга Соколова

P. S. Как вы уже успели, наверное заметить, у сборника как бы два названия. Это произошло из-за того что рекомендовавшая некоторых авторов Эвелина Богатых, предложила, одновременно, и свое название «Страх земной!» На что Ольга Соколова, поначалу как бы согласилась, а впоследствии предложила свое — «Абстинентки», однако подумав, решила сохранить и предыдущее, слегка подкорректировав, т. е. убрав из него всего лишь начальную букву.

Эвелине она приносит свои сожаления и, одновременно говорит — большое спасибо, т. к. с удовольствием использует разработанный Эвелиной эскиз обложки.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

От составителя	3
ГОРЛАНОВА НИНА	5
Протокол. Новый Подколесин. Решение Валерия. Гамбургский счет. Что-то хорошее.	
СОКОЛОВА ОЛЬГА	43
Голубой ангар. Нормальная жизнь. Загадки. На безопасной дистанции. Литературщина. Кацап. Автограф.	
СЛУЦКИНА ПОЛИНА	76
Страх земной. Студень. Домик на окраине Москвы.	
РЕМИЗОВА МАРИЯ	90
Ампутация.	
ДОРОШКО НАТАЛЬЯ	112
Лев Абрамович. Водоворот. «Гуд бай, Америка». Двадцать пя- тое февраля. Месть.	
СЕМАШКО ЕЛЕНА	134
Обстоятельства.	
МАРИНА ВЕТРОВА	147
Минута тишины. Без названия. Голый.	

ПРОТОКОЛ

литобъединения при областной писательской организации
(р а с с к а з)

Повестка дня: *Обсуждение рукописи Александры Лебедевой.*

Беляев. Чем прельщают рассказы Саша? Прежде всего — абсолютной женственностью. *(Ох, вдул бы я тебе сейчас — под самый корень!)* Убедительно отчеркнут любовный ракурс. *(Отчеркнул бы так отчеркнул!)* Но кое-где эта искренность оборачивается против автора—хотелось бы большей целомудренности от женщины. *(Хорошо, что наше дело—не рожать, сунул, вынул и бежать).* Конечно видно, как много пережил автор, я и сам стал лучше писать с тех пор, как упал с высоты двадцать метров. В целом ни один рассказ не вызывает возражений по части публикательности. *(Муж ее вызывает у меня сомнения — вон какой амбал оказался! По рассказам я сопляка ожидал).* Рукопись считаю готовой к приему в издательский портфель. *(Хоть дернем по этому случаю — я с Сашкой в компании раньше никогда не пил).*

Богомахов. Рассказы Саша Лебедевой подкупают своей честностью, вниманием к тем сторонам жизни, о которых принято стыдливо умалчивать. *(Зачем я здесь? Дома такое горе, а я...)* Она сильна изображением жизни, современного быта. *(Но жена поймет, что в следующий раз мне обсуждаться).* Меня взволновал рассказ о девочке с больными почками. *(Вот рембрантизм в искусстве: жена умирает, а он ее пишет. У Сашки дочь приемная заболела, она об этом рассказ... А у меня умерла дочка — я об этом даже не могу ни с кем говорить).* Но в последнем рассказе мне показалась неубедительной мотивировка поступков героя. Зачем он сломал свою скрипку после ночи любви? Оживляж какой-то. *(Надо же сделать какие-нибудь замечания, а то подумают: подмазывается перед своим обсуждением).* Я считаю, что основа для сборника есть.

Беляев. Если опять не ряд волшебных изменений в планах издательства, как со мной было...

Голоса: Тише! Главненький идет! Он сам лично! К чему бы это?

Вошел главный редактор:

— Я на минутку. Послушать.

Михалевский. Я лично не вижу в рукописи никакого открытия. Для чего мы пишем? Мне кажется, Лебедева не всегда может ответить на этот вопрос. *(Задал я тебе как-то вопрос: «хочешь со мной жить?» А ты что ответила! «Только по-соседству». Вот то-то!)* В ее рассказах нет авторской сверхзадачи. Это главный просчет. *(Куда тебе до меня! Наверно, думала, раз коротышка, то никуда не годен. Да сама-то велика ли! И туда же: обезьяна вышла за жирафа. Ох и трудно! Вверх — целоваться, вниз — отдаваться).* И рассказы-то о чем! Без описания туалета не обходится ни один. Совсем не обязательно про обкомовского работника писать, что она одна живет в квартире сто квадратных метров и с двумя туалетами.

Лебедева. Но вы же знаете, что она живет именно так.

Беляев. Она не разывается между этими туалетами, когда заспит? *(Что это главенький не уходит, сказал «на минутку», а не уходит и не уходит. Это похоже на наступающий оргазм: вот-вот, а все нет его).* В эту минуту главный редактор встает и уходит.

Михалевский. Какое удовлетворение от таких деталей получает пишущая женщина-мать?! *(Моя жена все порядок наводит и от этого получает удовлетворение. На другое у нее уже сил не остается).* Изобразительности маловато. Бледно, очень бледно.

Беляев. Но не спирохетно, нет?

Голоса: Саша, если ты так будешь писать, у нас отберут опород. Тсс! Саша, не обращай внимания, сиди и мечтай о будущем. Расслабляйся в общем! Расслабляться-то нужно, когда под мужем лежишь! Чтоб у тебя, Беляев, член на ноге вырос — как сношаться так и разуваться! Саша, потом рассказ об этом напишешь и снимешь стресс.

Благович. Саша работает в жанре рассказа — очень редком в наше время. Я не согласен с Михалевским. *(Он и на моем обсуждении был против — один хочет печататься!).* Большой жанр действительно невозможен без четко выраженной сверхзадачи, а в малом этой сверхзадачей может являться, наверное, правдивое, узнаваемое в жизни и в людях. *(Михалевский не тонкий все-таки человек, не понимает, что мне тоже нужно печататься).* В этом плане рассказы Саши очень интересны. *(Интересно, что скажет та новенькая — Леночка).* Саша использует широкий диапазон изобразительных средств. *(Надоели эти дилетантские сборища — скорее бы меня в члены приняли).* Считаю, что рукопись можно опубликовать, если поработает редактор.

Гиенко. Зачем эту ерунду здесь обсуждают? Это же все порнография! Я, товарищи, сегодня первый раз в вашем обществе... Но я все-таки скажу всю правду. Леня Благович ведь просто из жалости ее хвалил, он сверхдобрый. На меня рассказы произвели удручающее действие. Надо же придумать такую пакость: ЕБИ — естественно-биологический институт.

Беляев. Но в нашем городе и в самом деле есть такой.

Михалевский. Мало ли что есть в жизни!

Богомахов. Ребята, ну мне можно пойти? (Остается).

Гиенко. Я согласна с Михалевским: в рассказах много грубых, смачных выражений.

Михалевский. Я этого не говорил. (Откуда Благович эту дуру выкопал? Метит в члены, вот и сыскал замену, то-то она уж и протокол ведет, как староста).

Гиенко. Мужчина так имеет право писать, но чтоб женщина!...

Беляев. (Шепотом). Ну и тупа ты, мать, как три члена, вместе связанные!

Гиенко. Каждый мог бы писать об интимном—опыт-то у всех богат. (Я бы тоже могла написать, как в прошлом году, в санатории, лишилась девственности. В тридцать один год. Но уж не сразу сдалась, конечно. Сначала говорила, что замужем. А он: «Ну и что, там ведь не запломбировано». Убедил. Было так больно, так унижительно, даже смешно. И все равно хорошо!) Я считаю, что книги еще нет. (Леня, Леня, а в твоих руках, милый, я бы струлилась, как воск!).

Богомахов. Ну мне уже пора! (Остается).

Беляев. По-моему, товарищ эта... Гиенко... не права. (Давно тебе никто не вдувал, вот что! Но мне, наверное, теперь не даст).

Голос. У меня тут напросилась аналогия...

Беляев. Аналогия напросилась! А ты води себя прилично, никто к тебе напрашиваться не будет.

Престарелый детский писатель. Перерыв десять минут.

Беляев. Ну, братцы! (Точно, мне она не даст. Она в лоб даст, пожалуй). Ленечка! (Переходит на шепот). Где ты эту гиену выкопал?

Благович. А с тобой, оказывается, опасно рядом сидеть!

Беляев. Еще опаснее со мною рядом лежать, но ты-то этого никогда не узнаешь, потому что—мужчина.

Престарелый детский писатель. Беляев, ну здорово! Как живешь?

Беляев. Регулярно. А ты как?

Престарелый детский писатель. Фу!

Беляев. Червяк землю точит—тоже хочет. А ты человек.

Престарелый детский писатель. Я раньше, бывало, скоко ни выпью, а в транспорте стою браво, не держась. Нынче в рот не беру, а все равно: лишь трамвай поехал—меня повело. Хватаюсь сразу за...

Беляев. За первую попавшуюся титьку?

Престарелый детский писатель. Вечно ты. Не люблю я этого.

Беляев. Зря, значит, к тебе ту частушку относили: «Эх, конь вороной, белые копыта, когда вырасту большой, насношаюсь досыта».

Престарелый детский писатель. Зачем она такое пишет? При попытке развода, он все тело ее заштамповал печатью: «Из собрания Петровых!»

Беляев. Вот такая любовь.

Престарелый детский писатель. В магазинах пусто, ладно нам паек дают писательский! Какая может быть любовь при такой жизни?

Беляев. Из колодца вода льется — в желобочек сочится, хоть и плохо нам живется, а сношаться хочется.

Престарелый детский писатель. Удивляюсь я тебе. Как тебе все время хочется, когда у тебя жена дома есть!

Беляев. Ты еще мать вспомни!

Детский писатель (Михалевскому). У него все еще гормоны играют.

Михалевский (негромко, лениво тянет слова). Ну чего она ле-е-е-зет! Баба и есть баба. Ну пусть бы ей мужик вдудвал и вду-вал.

Престарелый детский писатель. Ну, товарищи, покурили? Продолжим.

Босенко. Я считаю, что сборник получился. (*Хрен там получился, но Сашка — мой друг со студенчества все-таки, надо поддержать*). Она сильна изображением непосредственной жизни. (*Ни фига она в жизни не знает. Чтоб ученые в компании член называли авторитетом и говорили: «Не с моим авторитетом к ней подступаться!» — это эстетство все*). Мне бы хотелось большей близости автора к народу (*подсказать ей надо синонимы: трахнутб, шпокнуть, пистон поставить, воткнуть — непереходный*). Альковные сцены можно немного сократить. (*Моя жена после близости тоже ворчит; опять полчаса как не бывало!...*) Считаю, что книга должна выйти в свет (*фиг она выйдет — попадет под колеса производственной программе. Главенький говорил, что молодых выбросят, заменят сельхозлитературой*).

Ногова. Мне показалось! Что сборник! Чисто тематически! Не совсем хорошо подобран! Рассказы не объединены пока общей идеей! (*А Беляев уже, наверное, бредит идеей пересыпона с Сашкой. Надо шепнуть ему, что муж — каратэист*). Слишком много герои изменяют мужьям и женам! (*Он уже не Беляев, а Седых, можно сказать. Сорок лет человеку, а все живет по принципу остроты! Завел любовницу, чтобы не потерять остроту отношений с женой. А чтобы не потерять остроту отношений с любовницей — завел меня! Большая, говорит, на тебе ответственность — все на тебя замкнул*). Считаю, что нужно дорабатывать.

Тугай. А я прочел рукопись с удовольствием. Саша знает приемы юмора. (*Туда же ее понесло — в юмор. И чего ей не писать лирическую прозу? Нет, хочет со мной конкурировать*). Не смешно только там, где герой, помните, снимает лифчик у невесты...

Голос. У третьей невесты по счету.

Беляев. Ну а если он известный лифчикосниматель?

Тугай. Автору не хватило тут самоиронии. (*Чего она пошла в литературу? Муж есть, детей четверо или даже пятеро...*) Но в целом, рукопись достойна публикации.

Престарелый детский писатель. А теперь я как официальный рецензент прочту свою рецензию... (читает).

ПОСТАНОВИЛИ: Рукопись не считать готовой, так как она не соответствует идейно-художественным требованиям момента, рецензия прилагается.

Беляев (по старой дружбе берет детского писателя под руку). Как у тебя с потенцией?

Престарелый детский писатель. А она тут при чем?

Благович. Саша, не плачьте!

Бугай. Пойдемте, с горя выпьем.

Лебедева. Так я ведь не пью — абстинентка.

Беляев. Это автор таких-то рассказов, в которых такая выли-занная стилистика пьянок? Ну и ну! (А все расходятся с таким видом, словно никто из них никогда ни с кем не сношался).

1982 год.

НОВЫЙ ПОДКОЛЕСИН

В природе сильно дуло.

Я познакомилась с писателем Т. на собрании, где вручался орден одной прозаэссе. Мы обменялись с Т. двумя-тремя фразами, и вот я вижу: уже сидим в баре, притом — кооперативном, метель осталась за окном, и звучит акустическая материя, а на языке Т. — размороженные писатели (Набоков и другие). Наша критика как с ними раньше спорила: плюх-плюх! Все плохие. А теперь оказывается, лично Т. они много дали для творчества. Вот уж никогда бы не подумала! И вообще Т. — человек в битвах за блага искушенный и благ этих в виде поездок на съезды писателей и прочее вкусивший. Ему за шестьдесят. Почему я с ним здесь оказалась?

В свои сорок годочков я пришла на собрание с мужем, чтобы подписать у Кошкина заявление на материальную помощь и продать две книги. Но муж сразу встретил своего друга, хиппаря Васю, который был в прикиде, то есть в пиджаке с криво обкромсанными рукавами и в брюках с перевязками под коленями. До прихода моего мужа он сидел смирно и строчил свои бесконечные стихи:

Голос вьюги был поэтом.

Строчки в окна он бросал.

Белым снегом, белым снегом

Все вокруг зарифмовал...

Метель ввинчивалась в окно, рядом с ним дремал серьезный член союза писателей, похожий на трезвое усатое животное. Как всегда наособицу, несколько в стороне, сидели писатель Т. и мой однокурсник Скороногов. В последнее время, когда на меня за «Непроизводственные рассказы» ополчились критики, Скороногов стал со мной разговаривать как-то нечленораздельно: «Бру-пру, пф», — так примерно — вместо приветствия.

И тут я заметила, что листок со стихами хиппаря Васи уже бездомно перекачивается по полу — это метель просачивается в щели и играет листком на паркете. Говорят, на своих вечерах роль метели выполняют сами хиппи: скатывают листы со стихами в комочки и бросают ими друг в друга.

*...Белым снегом дом и рощу,
Белым снегом лед реки.
Белым снегом было проще,
Видимо, писать стихи.*

Наверное, и мой муж успел сказать Васе: какая роща и какой лед реки! В нашем-то загазованном миллионном городе, в котором метель к тому же рыжего цвета! И потому что Вася про стихи забыл, а вспомнил, что у него с собой есть бельевые прищепки, они с мужем тотчас организовали общество прищепистов, причем муж прицепил прищепки на уши вверх «ушками» и стал похож на придурковатого Мефистофеля, а Вася прицепил прищепку на нос и стал похож на Пятницу при Робинзоне. Тут мне нужно продать книги и подписать заявление на материальную помощь, а прищеписты в это время разделились на два лагеря: левые прищеписты и правые прищеписты, причем к левым присоединилась Нина Череповец, хотя с самого начала она мне показала совершенно трезвой.

Я пустила по рядам «Воспоминания о Федине» и исследование Лотмана о Карамзине, и тут-то писатель Т. заявил: покупать о Федине он ни за что не станет, потому что тот слишком многих хороших писателей погубил — посадил. А прищеписты заперемигивались между собой: мол, их тоже губят, на корню, поэтому сейчас они в знак протеста сиганут. От них всего можно ждать — от прищепистов. Несмотря на рыжую метель. Что делать? Материальная помощь уже не светит. Надо продать хотя бы Лотмана, раз уж я не знала, что Федин участвовал в таких акциях. Зато Карамзин был полной противоположностью. При Павле, когда стали высылать в 24 часа неугодного царю московского губернатора, молодой Карамзин с мешком за спиной появился вдруг среди солдат, снующих по дому — он принес ни много, ни мало — книги по философии, чтобы губернатор не скучал в своем поместье. . .

Между тем прищепистам уже неумоготу участвовать в этой нехудожественной акции вручения ордена, тем более, что обкомовец с двойной фамилией Ядов-Гонченко все говорит и говорит. . .

...ОН ЧИТАЛ ПОЭМУ ОДНОГО МОЛОДОГО «В СЕНИ КАДРИОРГА», И ОБКОМ НЕ ЗНАЛ, ЧТО ЭТО — НАЗВАНИЕ ПАРКА В ЯПОНИИ, А РЕШИЛ ГНОИТЬ ЗА ФОРМАЛИЗМ. ЕМУ РИСОВАЛСЯ КАДРИОРГ В ВИДЕ ЗВЕРЯ С КОГТЯМИ. . .

Когда я голодна, мысли мужа легко передаются мне на небольшом расстоянии. Тем более, что прищеписты уже перемигиваются: обязательно сейчас выпрыгнем, только нужно кому-нибудь распе-

чатать раму от зимних пелен. Причем левоприщепист (Вася с прищепкой на левом ухе) уже медленно передвигался по ряду кресел в сторону окна. И тут наконец слово взял Кошкин.

— Минута-то какая! — с улыбкой приседал он на трибуне.

— Я присовокупляюсь к поздравлениям, которые здесь прозвучали...

Так и сказал присовокупляюсь, на что писатель Т. сразу же мне пояснил: неслучайный глагол, ибо некогда Кошкин был влюблен в эту прозаэссу.

— Хочется длить и длить эту минуту, чтобы она тянулась часы, дни...

— Вечность, сказал мой муж.

— Неужели она отвечала Кошкину взаимностью? — спросила я. — Ведь у него слаба поэтическая потенция.

— Ее интересовала отнюдь не поэтическая потенция. Она сама-то начинала писать интересно, но ведь у нас, если кто выделяется, делают так (и писатель Т. жестом показал, как подравнивают головы).

...ПРЕДОСТАВИМ МЕРТВЫМ ХОРОНИТЬ СВОИХ МЕРТВЕЦОВ, ИБО ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ ТАЛАНТА КАК НЕ ЕГО ПОХОРОНЫ? МЕРТВЕЦ, Т. Е. ТАЛАНТ, ПОПАВШИЙ В НЕЖИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЛАГОДАря ТОМУ, ЧТО ЕГО ВОСХВАЛЯЮТ...

— И с тех пор она пишет плохо? Это то, что Пастернак называл: всех губит всеобщая готовность перестроиться после критики, — сказала я.

При слове «Пастернак» писатель Т. как-то дернулся, и тут же объявили перерыв, и вот уж мы с ним на пути в бар. Когда я оглянулась, в окно выпрыгивал хиппарь Вася, и мой муж уже стоял на подоконнике, галантно держа за руку Нину Череповец. Сейчас Кошкин им выговорит. «Не маленькие, под сорок годочков, а все резвитесь». — «И до семидесяти так будем, если не примите нас в союз, а будете держать в литообъединении», так у них будет продолжаться долго, а мы уже в баре, притом в кооперативном, где даже дыню вяленную нам предложили. У природы много див — поступай в кооператив! В кооперативной вяленной дыне я выковыряла засохшую осу, похожую на изысканно-засушенный рассказ Набокова.

— «Машенька» меня раздражила: какой эгоизм — мужа споил, чтобы он не встретил Машу, и сам, видите ли, раздумал встречать... — начала я вымещать на всем подряд свое неполучение материальной помощи.

...НО ТЫ НЕ ПРАВА! НАБОКОВ ПОКАЗАЛ НЕ ЭГОИЗМ, А УТРАТУ СТЕРЖНЯ В ЧЕЛОВЕКЕ БЕЗ РОДИНЫ. ГЛУБЖЕ НАДО СМОТРЕТЬ...

Мысли мужа преследуют меня везде и всюду — нужно скорее поесть как следует.

— Кстати, о Набокове, видел я в закупе «Москву» с «Защитой Лужина», но не купил, так как у меня есть американское издание, а Скороногов меня чуть не убил за это! — демократически заявил писатель Т.: Мол, вот да я, искушенный и вкусивший, а позволяю молодому прозаику на равных общаться со мной; при этом он сделал губу в виде присоска и одним махом отсосал из стакана чистой жидкости.

— Он ведь эстет — Скороногов, а эстеты любят убивать, — ляпнула я, раздраженная на своего однокурсника, за его нечленораздельное обращение ко мне, хотя на самом деле жалеть его надо было, ведь человек родился столь красивым, что его прозу читать никто просто не хочет: мол, что может написать такой красавец. . .

И тут вызванный нами дух Скороногова появился в баре. Он был также худ, как в жизни. Если все перевести в мебель, то писатель Т. был как бы модная импортная стенка, широкая, с красивой фурнитурой, с платяными шкафами по бокам, а Скороногов — бритва в профиль рядом с Т. Я думала, что дух Скороногова тоже будет со мной разговаривать, как и сам Скороногов, ведь Кошкин давно превратил наше литобъединение в литразъединение, да и оно-то никакой силы не имеет, кроме отрицательной, так что ходят туда люди исключительно для того, чтобы было человеку куда пойти.

— Можно к вам присоединиться? — на чистейшем русском языке спросил дух Скороногова, видимо, потому, что я сидела рядом с Т.

— Сумасшествие — это относительно, — заявила я свою любимую тему. — Каждый должен сам решать, что это за видения — можно ведь к ним относиться, как к изображению на экране. Никаких галлюцинаций, мол, это просто видения, а они — бывают.

Дух Скороногова процитировал тут Пастернака «Телефон, конечно, не постижим, но не удивляемся же мы потусторонним голосам!».

Великие были мистики на свете — люди с богатейшей психикой! Теперь, когда просочились новые информации, можно было наслаждаться гордостью за своих соотечественников. Размороженные писатели Набоков и Пастернак, кооперативное кафе — все это могло быть, конечно, только в конце 1987 года.

— А я порой с нежностью вспоминаю эпоху застоя, — дух Скороногова продолжал гнуть свою эстетическую линию. — Когда я мог перечитывать Толстого, прочесть новые работы о дуэли Пушкина, о Дантесе. А сейчас без сердцебиения не откроешь прессу: то письмом Раскольникова к Сталину, то расстрел Кольцова, то восхищаюсь Буденным, который начал отстреливаться из пулемета, когда его хотели брать.

И они с Т. враз отсосали из стаканов по энному количеству чистой жидкости, причем дух Скороногова еще прополоскал во рту из гигиенических соображений. Для меня они заказали воздушную кукурузу — 50 копеек за кубический дециметр. Я отку-

сила от нее, но ничего не почувствовала даже: воздух, подслащенный воздух по 50 копеек за кубический дециметр.

— ...у-у, как заставляли, у-у! — взвыл писатель Т., не хуже метели за окном. — Этот самый Ядов-Гонченко заставлял, перед которым сегодня так приседал Кошкин.

— А вы что? — интересовался дух Скороногова.

— Ни в какую! Я, говорю, «Живаго» не читал, и подписывать не буду. А был секретарем союза писателей области!

Видимо, он рассказывал о том, как травили Пастернака. Отказался участвовать в этой нехудожественной акции? Я схватила было салфетку и стала рвать ее ногтем, пытаюсь нацарапать заветный вензель Б и П.

— Не пиши ты! Пусть у тебя будет один день без строчки! — призвал меня дух Скороногова.

Он не знал, что у меня уже ни дней, ни строчек давно нет и состояние духа на настоящий момент самое плачевное. Меня даже бесит та звуковая материя, в которой музыка обретает бытие, и я прошу официанта выключить игровой автомат. Но сразу же музыка наших дней ворвалась в уши.

— Бегаю я со своей рацухой повсюду — а им все равно что миллион прибыли...

— Страшная проблема наших дней — никому ничего не нужно, — набычился от печали писатель Т.

— Одна из страшных проблем, — поправил его дух Скороногова и заговорил о статье про проститутток, которые жалуются, как и всюду у нас в индивидуальной деятельности, только полтора процента имеют приличные доходы.

— Магдалинки — это страшная проблема, — еще больше набычился писатель Т. — его можно было уже сравнить не со стенкой, а с мебелью — комнатой, то есть целым гарнитуром для обстановки комнаты, включающей стол, кресла и так далее. Настолько значительным стало выражение лица и фигуры Т., что все в баре смотрели на него.

— Одна из страшных проблем, — поправил его дух Скороногова.

— Ну да, СПИД — страшная проблема, — соскользнула я на их тематику.

— Одна из... — твердо стоял на своем дух Скороногова — для духа он был слишком тверд, пожалуй, но я не могла же поверить, что сам Скороногов лично уйдет с престижного заседания, где он всем своим видом может показать, что он — вместе с писателями нашего города, он — свой, он — вот он, и хочешь не хочешь, а это нужно учитывать начальству, в том числе и обкомовскому.

Писатель Т. уже так сильно набряк фигурой и лицом, что стал даже мне напоминать гранинского Зубра, и я тут ляпнула: мол все-таки, насколько ученые были благородней писателей! Они, писали Тимофееву-Ресовскому: не приезжай во время культа Сталина, пережди! А Эренбург и Пастернак что! Писали Цветаевой: возвращайся, возвращайся! И возвратилась!..

— Да и роман Пастернака так себе, вы согласны? — радостно подхватил вдруг писатель Т., но наткнулся на мое прищуривание глаз и вальяжно развел руками: — Но это не значит, что нужно было так травить! Меня вон — в кабинете обкома партии заперли на ключ! Да-да! Ядов-Гонченко запер, чтобы я подписал.

Размороженные писатели Набоков, Пастернак и Гранин, кооперативные кафе и вот вам: все тот же Ядов-Гонченко в нашем обкоме. Да, так что же сделал писатель Т., тогда не искушенный и не вкусивший?

— А! Выпрыгнул в окно — благо обком был тогда одноэтажный, не то что сейчас — в двенадцать этажей...

— А как будто бы Горбачев не выпивает! — громко прозвучало вдруг в одном из углов бара — нет, не бара, это было уже в кафе.

Из бара мы перешли в кафе. Оказалось, что с писателем Т., выпрыгнувшим в окно обкома, я могу совершать то броуновское движение по городу, какое было характерно для моей юности. Бывало, из книжного магазина — в магазин «Мелодия», а там встречаешь знакомых, которые тут же зазывают тебя на свадьбу, а на этой свадьбе мне делают предложение и ведут знакомиться с родителями. Бог мой, тот претендент на мою руку и сердце никогда бы не нацепил на себя прищепок, и я бы не голодала, как сейчас, но с другой стороны — только сейчас и видно, насколько мы разные, и он, наверно, теперь считает меня богемой, а я ведь считаю про себя его — мещанином, как минимум...

— Горбачеву не положено пить по должности...

— А что: у нас не было, что ли, на должности генсека пьющих?

— А ты что: сама видела, как они пьют?

Ну, конечно, это была пьяная Нина Череповец — она не могла дольше оставаться на том собрании. Это ясно. Она увидела нас, подошла и своими красивыми черными глазами, полными юмора, стала смотреть на писателя Т.

— Он же бесхребетник! — сказала она мне про него. — Они там все бесхребетники!

Бесхребетник Т., сидевший так прямо и гордо, словно примерял заранее статую классика советской литературы, стал шепотом говорить, что просто не хочет связываться с такими, как Кошкин.

— Ну и целуй его в толстую задницу — может, гайморит нащупаешь! — презрительно скривилась она и пояснила для меня: — Их надо вдохновлять каждый вечер, а у меня времени не хватает — я работаю мотористкой. Он же без спины, без спины!

Писатель Т. погладил ее по красивым черным волосам, призывая успокоиться.

— Дочь шапку закрыла, чтоб я не позорилась, а я пошла — с голыми волосами пошла на это собрание... — она обращалась уже только ко мне. — А они все без спины. Ты где работаешь? Иди в мотористки! А они — они без спины...

— Хребет — дело наживное, — вставил свое дух Скороногова, но Нина его даже словно не расслышала, впрочем, не все же должны так привычно общаться с духами.

— Пролетариату не хера терять, кроме своих цепей, — твердила мне Нина. — Иди ты в мотористки! Мне Андропов квартиру дал — я написала — он дал, а эти... им только стихи мои подавай, а квартиру они ни-ни... правильно сказал Маркс... — и она повторила свою реплику про пролетариат.

Говорила она так горячо, что казалось: Маркс именно так и написал — образно, но редактор его отредактировал потом. Вдруг Нина стукнула кулаком по столу и спросила меня:

— Он мне даст выпить или нет? Поцелуй меня в висок, — между ее вопросом и просьбой поцеловать было столько напряжения, сколько обычно его я находила между строчками ее стихов. И так же ей не хватало в жизни тепла, как угадывалось по ее единственной книге.

Писатель Т. налил ей полстакана коньяку, очистив частоту психического фона (обычно много шумов в сознании, а так они стали утихать — шумы, и у Нины осталась одна мысль — о самом важном. Слушать ее стало не мучением, как минуту назад, а наслаждением).

— Не могу слушать вас: тот украл у одного, другой — у третьего. То строчку, то сюжет! А между тем — искусство — это организм, в нем циркуляция происходит, поэтому не понятны мне эти разговоры об украл! С ростом индивидуализма... творец считает, что он является Господом Богом. Своего произведения... Нельзя.

Вдруг Нина сникла, замолчала, потом встрепенулась и выдала еще несколько фраз, но уже без прежней радости:

— Не могу я среди этих калек духовных... Творец впереди любой партии, а они призывают выполнять решения съезда...

Кафе закрывалось, и всем хотелось почему-то пойти ко мне, хотя я живу в самом эпицентре городских проблем, а именно: наша область держит первое место в стране по раковым заболеваниям, и у меня сосед по кухне умирает в данный момент от рака желудка, дальше — у нас первое место по венерическим заболеваниям, и вот, пожалуйста, у соседки по кухне, Магдалиники, застарелая гонорея... Я недавно написала об особенностях нашего города большой рассказ и сдуру притянула этим все проблемы близко к своей жизни, вот теперь и расхлебываю. Но как об этом рассказывать, кто поверит? — не проще сослаться на нашу бедность?

— У нас совершенно нечего гостям никогда предложить!

— И это будет своеобычное проявление вашего гостеприимства — вы ничего не сможете предложить гостям, — сказал добродушно Т.

— Ты прекрасный русский нищий человек! — бубнила мне под ухо Нина Череповец, сама будучи не менее прекрасным человеком.

Мы отправились. И хотя продираясь сквозь загазованную метель, мы брели медленно, пытаясь уговорить Нину надеть на голову чей-нибудь шарф, она лишь отрицательно мотала из стороны в сторону своими роскошными волосами, захлебываясь пастернаковскими строчками: «Мело-мело-по всей-земле...» Несмотря на все эти задержки, мы пришли домой, когда дети еще не спали: младшая дочь качалась на качелях в проеме двери, а муж выходил из комнаты соседа со шприцем в руке, чтобы выбросить в мусор очередную сломанную иглу — сосед так похудал уже, что иглы ломались одна за другой из-за отсутствия мышц под ними.

— Ага! — начал он со свойственным ему молдавским мрачным юмором. — Ты искала себе другого мужа? Ты пожалела, что подобрала первое попавшееся бросовое мужское начало, работающее в вооруженной охране?

— Брось! Ты прекрасный нищий русский человек! — обняла его Нина Череповец. — Как мы хорошо сегодня были прищепистами, а? Где же этот левоприщепист Вася?

Вася сидел в нашем кресле, все в своем прикиде, и он поморщился, когда разделись Т. и Скороногов, оказавшись не к месту в роскошных костюмах-тройках. Мой муж на это заметил:

— Брось, Вася! Я думал, ты носишь прикид, чтоб подчеркнуть свое духовное родство с такими же, как ты, а ты хочешь, чтобы все были такими же, как ты! Это проявление нетерпимости, да, жена?

— Так вы что: муж и жена? — удивилась Нина Череповец, и потом, в течение вечера она еще несколько раз понимала, что мы — супруги, но снова забывала это и вдруг требовала, чтобы мой муж ее поцеловал в висок. — А я-то думала: чей это мужик десять лет в рваном бархатном пиджаке ходит!

Если уж такие замкнутые на себе поэты, как она, начали замечать оборванность моего мужа, то мне стоит разбиться, но купить ему новый пиджак. Подумала я.

— Хлопотать надо. Ты бы съездил в Москву, — начал советовать писатель Т.

— Что я буду в Москве делать? — спросил раздраженно мой муж.

— А что ты, папа, любишь больше всего делать? — намекающим тоном, в такт раскачиванию, произнесла наша четырехлетняя дочь.

Пауза была тягостна, к счастью тут наша кошка попросилась гулять на улицу, откуда уже доносились завывания двух котов. Муж мой выпустил ее, бормоча про то, что пока мы не научились регулировать биосферу, пусть она сама регулируется.

— Шутить ты любишь, папа! Вот и будешь в Москве шутить, — наконец разъяснила наша дочь, что она имела в виду.

Все, видимо, представили, что мой муж с прищепками появится в Кремле, и начали прыскать. Я поспешно разлила всем чаю

покрепче, а моя дочь — пятиклассница уже несла горячие бутерброды с запеченным сыром.

— Были уже шутники, — печально заметил мой муж. — Сначала в Зимнем дворце шутили — бегут с берданками наперевес! Шутками перебрасываются.

— Юнкера так и легли, — добавил хиппарь Вася. — Всех перешутили шутники и стали над собой шутить.

— Да, вызывает Сталин Кольцова в Кремль и тонко так шутит: не хотите ли застрелиться? Тот так и лег. Точно так же вызывал Сталин Тухачевского и опять тонко пошутил: ты враг народа. Тот так и лег.

— А Буденный шутки не понимал, — вдруг добавил дух Скороногова, — Сталин ему: ты враг народа, а тот достал пулемет и давай отстреливаться. Пришлось шутки оставить с ним...

Писатель Т. немного вспотел от всего этого: чай, горячие бутерброды, шутки, шаровые и простые молнии на множестве картин моей дочери, висящих по всем стенам.

— У вас так все вкусно, что вы смогли бы открыть частное кафе, — сделал он новый вид комплимента, появившийся только в 1987 году. — Но вообще... Слушайте, поколение!

Поколение, которому сорок годочков (я, муж, Вася и Скороногов) стали слушать.

— У вас же все другое! У вас даже шутки другие! Мы... Мы могли, конечно, мысленно так пошутить, но сказать такое... никогда! Никогда! Ни-ког-да!

В это время сосед в своей комнате закричал от боли. Начинается ночка. Не первая уже. Надо скорее детей укладывать, чтоб не слушали много такого. Но сын уже бледнеет от сострадания и что-то царапает на бумаге в углу стола. Проклиная загрязнение среды и наш обком, который разогнал общественный экологический комитет, гости расходятся, причем Нина Череповец долго целует нас с мужем в коридоре, обзывая дорогими засранцами.

— Послушайте, я пьесу написал, — шепчет сын, чтоб не мешать засыпающим малышам. — Приезд Горбачева в наш город через десять лет.

— Когда ты ее написал? — пытаюсь я перевести разговор, чтобы рассказать историю о новом Подколеснике: как Т. выпрыгнул из окна обкома, чтобы не подписывать письмо против Пастернака.

— Сейчас и написал, — неслышимо сидит сын и начинает читать: — На площади стоят, шатаясь, восемь человек. Горбачев в микрофон: «Дорогие товарищи! Никогда ваш город не казался нам таким вымершим... Мы понимаем, что неблагоприятная экологическая обстановка... Но... призываем вас бороться за дисциплину и повышение производительности. Чтоб вдохновить вас, мы привезли с собой из мавзолея тело Ленина, а также: череп Раскольникова и бедро Кольцова...».

Я схватилась за сердце: сыночек весь в папочку — шутить любит. А цены, говорят, повысят, как он жить-то будет?! Но муж хранит спокойствие:

— Писатель Т. этого, жаль, не слышит. Третье поколение. Если они только смели помыслить, а мы — сказать, то наши дети — писать так смеют. Все вперед...

— Я себе расскажу о писателе Т. с Пастернаком... — свое гнула я.

— А что: он еще и с Пастернаком дружил?

— Дети, спать, всем спать! — я гоню старших в постель. — Это вам пока не обязательно слушать.

— Ну и что наш друг Пастернака? — нетерпеливо переспрашивает муж.

Я подробно описываю случай с Ядовым-Гонченко, как закрыли бедного Т. на ключ, как он выпрыгнул. И тут мое воображение немного меня повело, и я не заметила, как соврала, что — падая — Т. сломал ногу, и в тот день Пастернаку стало легче. Помните, был день, когда врачи сказали, что появилась надежда? Это, конечно, флюиды благородного писателя Т. долетели до опального поэта и... мало было флюидов одного писателя Т. Мало.

Вырисовывался сюжет рассказа: потом писателя Т. долго не печатали, он запил, стал писать ерунду, которую начали, конечно, печатать, и вот теперь он стенка: пусть импортная, с красивой фурнитурой, но... стенка.

— Какой нудный рассказ получится, мама, — сказал мой наглый двенадцатилетний сын, засыпая.

— Ничего не нудный! Надоело мне все про подлецов писать, — завелась я. — Надоело это дантесоведение! В последнее время так много работ о Дантесе, надоело. И я все чаще про подлецов — никакого разнообразия... Слишком мы вглядываемся в Дантесов, а чего там вглядываться!.. Понятно, что подлость очень задевает, посему и вглядываются, но...

*

* *

Через три дня мы хоронили Нину Череповец. Дочь пришла домой и нашла ее мертвой.

Когда я пришла в союз, там полз по углам ропот возмущения. Кошкин не выделил на похороны ни рубля, и пока не пришел писатель Т. и не выписал на себя ссуду в сто рублей, не могли начать организацию.

Кошкин в последнее месяцы был любовником Нины, поэтому испугался выделить деньги — не подумали бы, что он по блату, ведь она не была, мол, членом союза.

В кресле сидела моя подруга Клара Ш., судорожно хватая на подоле своей юбки каких-то насекомых. Я подошла и увидела, что у нее раскатились шарики жидкого валидола (новый вид упаковки этого препарата), и она пытается их поймать.

— Все разом! — разрыдалась она у меня на воротнике паль-

то. — Вова уехал в деревню к брату, у того инфаркт. Помнишь, он детей-то давил в Чехословакии?

— Как не помнить, детей полуторагодовых чехи в одной деревне выставили на дорогу, чтобы задержать наши танки. И этот мальчик выполнил приказ — он был из глухой деревни, что он понимал в Чехословацких событиях тогда!.. На свадьбе вашей он это рассказывал еще.

— Да он все время, как выпьет, так с плачем и рассказывает. У него же свои дети родились, и он жить не мог с этим... Сорок годочков, и вот — обширнейший инфаркт... А тут еще Нина!

Я стала было размышлять о судьбе своего поколения, которому сегодня, в конце 1987 года по сорок годочков, но тут что-то новое, даже не сразу понятное, донеслось до моего уха:

— ...напоминает писателя Т. Тот как напьется у нас, так плачет и рассказывает, как он Пастернака исключал из членов союза писателей. Собрал собрание и всех призвал...

Для меня это было то же самое, как если б я читала поэму Лермонтова «Мцыри»: «Немного лет тому назад, Там, где сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры...». И вдруг что-нибудь вроде того: «Мцыри обкакался».

— До того напьется, что уж и имя-то не выговаривает, а все плачет и причитает «Пасранак-Пасранак, Пасранак-Пасранак»... — продолжала всхлипывать в мой воротник Клара. — И вдруг Нина! Единственный поэт Перми жил в ее лице.

Тут я увидела писателя Т. Он шел, расправив плечи и сочетая в своей походке сразу представительность и печаль, получалась такая *представительная печаль*. Но вот он заметил меня и стал как-то нелепо прятаться за идущего впереди Скороногова, хотя как он надеялся за ним спрятаться, если Скороногов — бритва в профиль, а писатель Т. — стенка, импортная, с платяными шкафами по бокам. Но самое интересное, что ему удалось спрятаться, потому что в одной руке у Скороногова оказался погребальный венок: большой и очень красивый.

РЕШЕНИЕ ВАЛЕРИЯ

Павел Петрович П-ин, сорокатрехлетний полковник КГБ, волевой и находчивый человек, не раз бывавший в переделках и только что вернувшийся из круиза по Европе, пребывал в настоящий момент в растерянности: его семнадцатилетняя дочь, единственное дитя в семье, собралась замуж. То есть о свадьбе речь еще не заходила, но домой Снежка приходила поздно и отстаивала свое право на это, так что жена уже две ночи не спала и поручила ему выработать план спасения.

А сама и виновата! Стоило ему уехать, как она запустила какой-то эксперимент по физхимии, торчала дни и ночи в лаборатории, как с цепи сорвалась. А в то время Снежка, Снежана Павловна... А может, еще и не зашло далеко? Но ведь ОН —

пятикурсник, знает все ходы и выходы. Вон эти пятикурсники-диссиденты во время Процесса как раскрывались! Хотели печатать листовки! А где? — спросил их Павел Петрович, уверенный, что назовут типографию номер два, за которой тоже давно уже есть наблюдение. А они: хотели сами изобрести печатный станок! Это с помощью чего же, интересно? А с помощью валика от стиральной машины. Другой еще добавил: и с помощью Гуттенберга! Пришлось принять меры: надолго теперь никто не встретит в продаже стиральных машин: ... Печатать они будут.. Правду о чехословацких событиях захотели! Павел Петрович сам был в шестьдесят восьмом в ЧССР и навсегда запомнил ненависть в глазах женщин Праги, сорванные таблички с названиями улиц, чтобы «оккупанты» не могли ориентироваться. А какие они были оккупанты: приказали, вот и двинули танки. Зато как сильно продвинулась карьера П-ина в тот год!..

Кроме всего Павла Петровича смущало имя поклонника дочери: Валерий. И коренастый, невысокий, смешно при таком-то имени, слава богу, не картавит, как Ленин. Не нравилось и то, что у Валерия пять братьев и сестер — куда их, столько родственников!

Так Павел Петрович сидел на кухне и автоматически рисовал на творожной тарелке мишени, отмечая попадания — никакой план операции не приходил в голову. Рядом хлюпал холодильник, отключенный с утра для размораживания и отданный ему под присмотр. Хлюпанье это не вдохновляло, да еще творог, разгрузочные дни... Он взвесился на домашних весах. Ничего, уже 87 кг. Ближе к норме. Он повеселел, взял свои сигареты и перешел в гостинную.

Там тоже были фотообои, но уже не увеличенная репродукция картины (фламандского натюрморта), а настоящая фотография уходящего вдаль горного массива. Хрустальные хребты, снег деревенской белизны — летом здесь кажется прохладно даже в самый жаркий день. Жена еще удачно подобрала синие шторы, все хвалили. Порадовавшись на все это, Павел Петрович нырнул в пупырчатую мягкость дивана, лежа закурил. Диван похрюкивал под тяжестью хозяина. Свинья этот Валерий, — довольно добродушно бормотал Павел Петрович. В конце концов даже с именем его можно согласиться — встретиться он на пути Снежки года на три позже! Но теперь, когда с таким трудом устроили ее на первый курс университета (со школьной скамьи на юридический практически не брали, а она уперлась: «На юр и все!»). Четыре репетитора всю зиму: жена отказала себе в круизе по Европе!... Дочка так хотела учиться! По стопам папы... И вот... Скоро сессия, а она совсем не занимается.

Он вспомнил себя в эти годы. Женился Павел Петрович лишь перед распределением, и когда невесту показывал начальству (а в институте военных переводчиков это было обязательно), ее абсолютно все одобрили. Не то, что у его друга Баранова. Тому советовали подождать, подумать, не брать разведенную да притом

ранее бывшую замужем за евреем, уехавшим в Израиль. А Баранов пошел на принцип, женился, и вот сослали его на Кавказ, в грузинскую деревеньку, высоко в горы. Правда, он и там не пропал, составил словарь «фени», который в ходу у заключенных, и ведь понравился этим самому министру, теперь тоже полковник, только в системе Пермского МВД. Сын у него на третьем курсе политеха, уж лучше бы он за Снежкой приударил...

Павел Петрович был человек решительный, и он тотчас позвонил Баранову и пригласил все его семейство в гости — к тому же он привез из круиза оригинальные сувениры — есть что показать.

— Ну, ну, — баритонил Баранов, — А как твои? Снежка замуж не вышла?

— Сегодня у нас какое — двадцатое декабря? Ну вот, вчера, девятнадцатого, она была незамужем.

Павел Петрович положил трубку с облегчением: приглашение было принято — раз, Баранов младший невесты не завел — два. Словарь «фени» лежал в столе в кабинете, и Павел Петрович пошел туда листануть его, чтоб хоть несколько слов и выражений запомнить. Зелень — деньги кюпюрами по 50—100 рублей, змея — поезд, Зуботыка — прокурор... Зуботыка, зуботыка... Снежка говорила, что Валерий — мастер спорта по классической борьбе. И вдруг П-на осенило! Он позвонил в первый отдел университета, представился полностью: полковник КГБ такой-то и попросил данные об одном студенте пятого курса. О Валерии, конечно...

Сотрудник первого отдела бодренько пообещал полковнику все исполнить и тотчас тревожно позвонил ректору. Время было горячее: только что у филологов прошел Процесс, правда, всех студентов сделали свидетелями со стороны обвинения, а посадили двух скульпторов, но частные-то определения суд вынес, и пришлось собирать большое партсоборание, потом факультетское...

У ректора была первая мысль, что это происки жены. С тех пор, как она узнала его вторую сексуальную жизнь (с молодыми аспирантами), немало пришлось ему сменить партнеров. С тех пор, как последнего любимца она спугнула сравнительным анализом (якобы предыдущему аспиранту он написал диссертацию быстрее — всего за год, впрочем, так оно и было, но нужно учитывать и то, что человек устает на работе, с каждым годом растет количество бумаг!.. Нет, ничего они не хотят понимать...) он стал часто заходить в спортзал, когда там тренируются борцы — это его возбуждало, вид обнаженных борющихся тел. И уже он узнал, как зовут того красивого молодого человека с вставными синеватыми зубами — Валерий. Но ведь он никому ничего еще не сказал! Разве что во сне про... да какая глупость: не во сне, ведь жена-то в отпуске, на курорте, а он и узнал-то имя четыре дня тому назад. Значит... ну и глупец этот Валерий! Впутался в политику, променял его и даже будущую диссертацию на что: на преследование и сомнительную славу. А может, еще не поздно вмешаться? Но с этой организацией шутики не шутят. И мало разве в секции борцов молодых людей, которым захочет-

ся даром получить степень кандидата? В придачу к любви самого ректора!..

Ректор достал из жармана таблетку птерчатки и разжевал ее так медленно, что головная боль вытекла из него уже к концу исчезновения горечи во рту. После этого он сел и вызвал всех, кто мог пригодиться. Принесли личное дело Валерия Захарова, оказавшееся вполне пристойным. Всюду: «участвовал», «оправдал». «А мои надежды вот не оправдал», — тоскливо пролетело в сознании ректора. — «А на Западе бедные собраты вообще и этого лишены — использовать служебное положение. Там обездоленных-то нет, приходится искать, небось, любимца только в узком кругу желающих добровольцев. А так им и надо, буржуям!» Настроение окончательно выправилось при мысли о возможностях советского гомосексуалиста, облаченного властью... Так, что там говорит первый отдел: два года в стройотряде? Значит, из этого можно сделать корыстность Валерия. Ну анекдоты добавить — их все рассказывают. Еще главное, кафедра как-то рассчитывала оставить его после окончания университета! Ну и ну! Значит, он сам мог написать диссертацию? Такого и жалеть не стоит!

— Теперь-то уж ни в коем случае! Неблагонадежных мы не берем на кафедры! — закричал он на декана. — Запрос-то оттуда! Процесс хотите?

— Запрос... эм... — покраснел декан.

— Вот и мм, и эвм, — ректор сам остался недоволен шуткой («Выбили они меня из колен!»).

К вечеру удалось узнать, что не так давно Валерий бросил влюбленную в него географичку и нашел себе молодую несовершеннелюбую первокусницу с юрфака. Все облегченно вздохнули: наконец-то! Ниточка потянулась: вызвали брошенную географичку в первый отдел к одиннадцати вечера, она испугалась, расплакалась и призналась во всем: Валерий, как все мужчины маленького роста, являл всегда массу энергии и предприимчивости, особенно в любви. Он соблазнил ее в первый же день лета прошлого года, когда она тайно от родителей пригласила его на дачу.

К полночи характеристика была готова, а утром она лежала уже на столе полковника П-ина в его рабочем кабинете. Павел Петрович сначала зашел в свою поликлинику, показал зубному свой пятый слева верхний зуб, получил совет (всю неделю больше творугу), и лишь после этого начал листать «дело» Валерия. Царапнул его анекдот, приведенный для иллюстрации — насчет расшифровки КГБ. Контора глубокого бурения. Полковник обиделся. Дилетанты не в состоянии оценить по достоинству, что такое в наше время «глубокое бурение»! Эх, лет двадцать назад — другой мог бы выйти поворот.. Полковник вдруг почувствовал, что в таком раздражении не может начать работать. Он принял позу кучера, расслабился и внушил себе полную бодрость. Выпрямился, убрал в портфель «дело» и принялся за текущую работу.

А в это время Снежка вышла из ЗАГСа с Валерием под руку, простилась с ним на остановке и села в трамвай. Он оставался, чтобы сесть в другой трамвай и поехать на тренировку. Валерий находился на переднем крае любви, когда ради любимого человека идут на все, даже на смерть, и ему хотелось как-нибудь отметить этот момент подачи заявления. Он тренировку бы пропустил сегодня, но Снежку так контролируют дома! И кроме того, она взяла на себя уговаривать своих родителей... Через три месяца ей исполнится восемнадцать, и тогда...

Снежка ехала домой и думала о том же. Кто бы мог подумать, что ЗАГСом закончится ее вступительное сочинение! Когда написала черновик, отпросилась подышать. Свалилась на скамейку рядом со старшекурсниками и сделала несколько дыхательных упражнений по методике папы. Когда она снова вернулась к действительности, на скамейке сидел один молодой человек. Она решительно спросила:

— По какому четвертому вопросу Чацкий...э...враждовал?

— С кем? — улыбнулся молодой человек, открыв странного цвета зубы, похожие на синеватые хребты гор на фотообоях.

— С обществом Фамусова, — она гадала о причине искусственности зубов — детское жгучее любопытство поджаривало ее.

— А какие три первых вопроса? — он улыбался ей, как взрослые улыбаются детям.

— Я написала про отношение к строю, к службе, и просвещению. Репетитор говорил про четыре...

— А почему ты думаешь, что я знаю?

— Потому что мужчины... мой папа знает почти все на свете.

— А кто он?

— Полковник, — и вдруг по ассоциации с должностью отца она вспомнила четвертый вопрос — отношение Чацкого к границе! Обличение низкопоклонства перед Западом! Ура! Она так и сказала своему соседу по скамье:

— Вспомнила: французик из Бордо... Ну, надо идти, — и она пошла дописывать разгром фамусовского общества. Вся ее прежняя жизнь казалась отрезанной этой встречей: ангины, осложнения на средце, вечные репетиторы и глупые переживания мамы о том, что у Снежки впалая грудная клетка, которая «совсем не компенсируется хорошо развитыми молочными железами», и вдруг!

Сначала вдруг, затем — само собой. Иногда в голове Снежки толпились одни наречия: здорово, ново, удивительно, интересно, непонятно, чудесно, странно, прекрасно, лучше всех, страшно... Прилагательные шли в мужском роде: родной, самый сильный, красивый, веселый, смешной, дикий...

Дома было какое-то напряжение. Отец улыбнулся ей, но как-то скупой. Не говорить, что ли, сегодня? А вдруг им уже позвонили из ЗАГСа? Нет, не похоже, просто у нее преувеличенное мнение о всезнании отца... И вдруг Снежка почувствовала себя такой одинокой, что ей стало жаль рыбу, съеденную на закуску (скелет

еще белел на блюдец), «Смех, будущая юристка — рыбку пожалела». И она стала спокойно смотреть на роскошную фламандскую красавицу на обоях, у которой пышные груди не должны были компенсировать впалую грудную клетку.

— Между прочим, я могу тебе что-то показать, — сказал вдруг отец, полускрывая папку ярко-красного цвета. Вот тут записал личное дело твоего... не бог весть какое сокровище! Читай.

Она молча взяла папку и прочла все четыре страницы.

— Это же липа! Липа-перелипа! Анекдот разве что такой сейчас существует, но его все рассказывают.

Павел Петрович раздражился еще более:

— Какие анекдоты пошли! Все стали чересчур умные... Конечно, знания нужны, но в меру, в меру. Раньше только на Руси отдельные личности мучились вопросом «Что делать?», «Кто виноват?», а нынче... все решили этим заниматься... диссиденты... Мало их пересажали! Вот и получается, что мы этими вопросами занимаемся, а на Западе уже... фотообои.

Полковник исьяк.

— А что: анекдоты запрещены законом?

— Политически развитый человек не будет их рассказывать, — поддержала отца мать.

— Да ну вас! Мы заявление сегодня подали, а вы... И вообще у меня от этой папки печень заболела: какой вонючий кожзаменитель делают... ффу!

— Я твой паспорт забираю. Какой еще такой ЗАГС! — папа П-ин спрятал в свой карман ее паспорт.

— А в сумасшедший дом меня запрятать не хо? Еще надежнее будет, — въедливо ответила Снежка. — Там ведь лечить будут и в самом деле сумасшедшей сделают. Ты бы, папочка, эти приемники применял только в своем заведении на три буквы, понял?

— На три буквы? Ну, знаешь, я работаю, для меня это дело жизни, а для твоего Валерия, видимо, наша работа — лишь повод для остроумия. Ничего святого для вас нет!

— Но, папа, ты сам рассказывал, что Дзержинский за своей невестой через всю Европу поехал, когда первая мировая началась. И нашел. Так и нужно, когда любишь...

— При чем тут Дзержинский! — возмутилась мать.

Снежка округлила глаза, помахала ресничками и выскочила вон, к себе в комнату ушла. Полежала немного, пришла в себя и... какая там у Валерия географичка? Все остальное — ерунда, каков запрос, таков и ответ. Круг-то тут замкнутый. Даже если КГБ и серьезно интересуется человеком (не по поводу влюбленности дочери сотрудника), то сам запрос из этого учреждения уже означает, что в характеристику попадут определенные качества. Но при чем тут любовница? Она, наверное, была в самом деле. Говорить ли об этом Валерию?

Терпела с неделю, до распределения. Но когда он в расте-

рянности сообщил ей, что на кафедре его почему-то не оставляют, Снежка неожиданно для себя все выложила.

— Нет, я уйду от них! — заплакала она в самом конце.

Валерий был готов для броска. Но так тронут ее преданностью, что ее же и утешал. И не заводил бы тут Снежке разговора о географичке, но не сдержалась, начала попрекать. И они поссорились.

Вечером у нее была истерика, температура, тахикардия и «скорая». Родители не спали всю ночь. Павел Петрович под утро задремал и увидел во сне, как на тренажере преступник похож на Валерия. Павел Петрович трижды выстрелил, и каждый раз экран потухал (попадание). Утром он нашел в мусорном ведре порванную фотографию «женишка». «Сон в руку».

Начались новые времена. Снежка вовремя приходила домой, но все время прислушивалась к телефону. Один раз наорала на мать, которая забыла выключить воду на кухне: ей могут позвонить, а звонок будет неслышен. Но Валерий не звонил. Прошел месяц. Снежка кое-как спихнула сессию («задвинула», как говорила она Олегу Баранову). Барановы обедали два раза. В последний раз Олег Баранов принес новые записи, слушали их в комнате у Снежки они вдвоем. Потом он курил на кухне, Снежка варила кофе. Из приемника, стоящего на шкафу, высказывали последние известия. Комментатор у телетайпа говорил взхлеб, словно хватал новости горячими, обжигался, но мужественно терпел, чтобы с пылу с жару успеть всех ими угостить. Новости были старые, как мир: там и сям якобы вооружаются проклятые капиталисты. Олег сказал: он полагает, что в случае войны отец его спрячет так глубоко, что никакая бомба не достанет. А отец Олега так полагает? — спросила Снежка.

— Ерунда... Так о чем я рассказывал? О той даме на море? Потом оказалось, что она беременна, ее родичи заволновались, но мне так повезло, так повезло! Беременности-то два месяца, а тут мы знакомы всего месяц...

Все это Снежку не вдохновляло. И вдруг она зачем-то сказала: вообще не знает: что делать?!

— Безответная любовь? — переспросил Олег. — Я считаю, что безответную любовь можно и задвинуть!

Значит, он не сочувствовал. Он не сочувствовал, Валерий не звонил. Опять не стало в ее жизни ничего, кроме врачей и родителей.

Тогда-то и пролилась на меня вся эта история вместе со слезами. Я репетировала Снежку в 1977 году. Чацкий, Фамусов, Софья... И никаких особенных контактов. Снежка была у меня не одна — ходили еще две девочки. Разве что при вопросе о «сумасшедшем» Чацком, я горячо шепнула, что КГБ и поныне сажает в психушки всех, кто говорит обществу правду в глаза. Тогда только что прошел знаменитый на весь город ПРОЦЕСС, в нем участвовали мои друзья и однокурсники. Двух из них посадили на семь лет строгого режима. Если бы я хоть догадалась,

КТО — отец Снежаны, (он был главным следователем по делу моих друзей!) я бы, конечно, не стала ее учить, но в том-то и дело, что жизнь полна таких вот нелепостей. Снежку привела ее мама — коллежанка моей подруги, и я ничего не заподозрила. Вдруг через год она явилась заплаканная, одинокая, и все рассказала (в свою очередь не зная, что жертвы ее папы — мои друзья).

— Ну, а что ж ты не поделишься с однокурсницами? — холодно отвечала я.

Ах, они все старше ее, стажистки. Все понятно. Но и я ничего не могу посоветовать.

— Я думаю: если папа ему предложит работать в органах? Это ведь очень выгодно: у них курорты, круизы, лучшая в городе поликлиника...

— Сама решай, дорогая (может быть, я сказала: милочка).

— Она решила — предложила. И через неделю снова пришла ко мне! Там был рассказ уже в основном про маму, которая предложила Валерию угощение.

— Вам чай или кофе?

— Что вам проще.

— Мне все равно.

— Да мне тоже.

— Но все-таки?

Валерий выбрал что подешевле:

— Я бы выбрал чай, если кто из вас еще будет пить — кто-то в семье пьет чай?

— Я пью чай, — ответила мать.

— Тогда я выпью с вами.

— Но уже попила только что...

Боже правый, он не знал, что ответить.

Я спросила: согласился ли он на «лестное» предложение полковника? Ах, обещал подумать. Ну, понятно. Он же думает: жениться или нет? Жениться, конечно, опасно: попасть в такую семейку! Но не жениться-то еще опаснее: из-под земли достанут, если хотят отомстить. Это ведь не МВД какое-нибудь.

Через год я встретила в кинотеатре беременную Снежану под руку с молодым мужем. Мне его представили: Валерий. Удалось сделать вид, что я очень тороплюсь в буфет, и избежать разговора.

Время стояло на месте, потом вдруг пошло. Началась перестройка. Мои друзья, отсидевшие сроки, стали лидерами «Мемориала», уважаемыми людьми. И вдруг... встречаю я возле своего дома Снежану Павловну, как напоминание о бреде прошлых лет. Оказывается, она теперь юрист на заводе и вот получила квартиру рядом с нами!

— Нина Викторовна, я вам покажу свои новые финские кресла!

Буквально затащенная на второй этаж я должна была любоваться креслами в виде морских раковин.

— Это еще что! А вот в самой Финляндии мы были на выстав-

ке — продаже мебели, видели кровать-новинку, знаете, вода внизу налита, особая, на ней матрац — значит — плавает...

— Плавает?

— Да, и такое свойство у воды, что она нагревает постель, если в комнате прохладно. Мы стали восхищаться: вот хоть бы раз поспать, стали мять этот матрац, примеряться-ложиться, но мужчины его раскритиковали...

— За что?

— Говорят: опасно. Можно ведь такую амплитуду развить, что вылетишь, вода есть вода.

Ага, разговор про амплитуду, а где Валерий? А они давно развелись. Ну тогда понятно, почему разговор про амплитуду. А папа как поживает, интересно? Папа ушел на пенсию. В тот же год, как Валерий ушел из дому. А может, наоборот? — подумала я про себя. Но вслух стала спрашивать о работе.

— Вы знаете, Нина Викторовна, если вы имеете в виду мою ошибку с редактором многотиражки, то это все позади. Да, была профессиональная ошибка, я очень переживала это тяжело: на меня же сам директор кричал. Но теперь все позади, все хорошо, есть текущая работа: выселять из общежития людей, *но это я делаю с удовольствием.*

Вот как... Дочь полковника КГБ выселяет людей *с удовольствием!* На улицу... И вдруг меня осенило: да это ж прогресс! В самом прямом смысле этого слова. Ее отец сажал моих друзей на годы и годы строго режима, а дочь его лишь выселяет через суд из общежития. Ну на улицу, но не в тюрьму... А ее-то дети, пожалуй, вообще будут ограничиваться тем, что пошлют предупреждение в письменном виде кому-нибудь, кому положено... Точно: всего лишь предупреждение! И чего доброго, опять ведь найдутся люди, недовольные этим, начнут осуждать бедных юристов! Известно же, что совершенства в мире нет. Но ужель и не будет?

Август 1989 г.

ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ

«Оно приближается, как бы надвигаясь, коллапсируя и ныряя внутрь меня, но что-то отпугивает его».

Муж заглянул в мою записную книжку. В отличие от меня, напряженно сжимающей ручку, он весь утонул в кресле — в новом Бусином кресле.

— Ты так пишешь, словно речь идет о сексуальном удовольствии — оргазме. А ведь ты имеешь в виду нечто другое?

Я только заскрипела босоножками /друг о друга/. В раздражении. Светилась в вазе полынь. Мерцал дисплей компьютера. Сиял экран телевизора. Все предметы подавали мне знаки, значит, ОНО приближается.

Муж примеряет вместо галстука огромный черный якорь —

этот якорь сегодня подарили Бусе на новоселье, чтобы укоренился, бросил якорь, а то все ездит по Гамбургам, вместо того, чтобы жениться.

Якорь мне не пригодится. Я записываю все, что пригодится:

1. Гертруда — проститутка в Гамбурге.

2. Буся — советский турист, наш друг, объем талии два метра сорок сантиметров, похож на мистера Пиквика.

3. Бочка с квасом.

4. Еловский район, в котором живут немцы из ФРГ, строят газопровод.

5. Медведь-шатун — злой местный медведь, растревоженный строителями газопровода /возможно, их несколько/.

— Я по ягоды ходила

И медведя встретила.

Он в кустах меня прижал,

Я и не заметила! — Ох-ох, уйя! — доносится из-за стены — там тоже празднуют новоселье.

— Кто еще не видел, какая у нас вода! — кричит с кухни Буся. — Артезианская! Аж голубоватая, прямо, как у обкомовских работников на улице Швецова...

— Перестройка, перестройка,

Я и перестроилась.

У соседа член...

Я к нему пристроилась! Ох-эх... Уйя...

— Кто член чего? — кричит с кухни Буся. — Член кооператива?

Мы идем на кухню смотреть обкомовскую воду, оттуда, кстати, виден соседский дом в «лесах», на нем красной краской написано: ЕЛЬЦИН.

— Миша песню сочинил,

А Раиса — ноты.

Ельцин песню петь не стал,

Полетел с работы!

Я села, со злости заскрипев босоножками друг о друга. Квартиру Бусе дали за Камой, почти в лесу. Не близко. Значит, будем рано расходиться, а Буся все не может закончить свой рассказ о поездке. Ну что он уставился в этот телемост, где у наших такие лица, словно они думают: «Эти все телемосты скоро кончатся, а мы останемся!» Телевидение — рупор антиперестроечников, так и кажется, что они каждый 16-й кадр показывают портрет Лигачева — этот кадр не виден, но внедряется прямо в сознание.

Ага, вот наконец-то он подсел ко мне, сладко закрыл глаза. «Оно приближается», — подчеркнула я в своей записной книжке, магически вызывая нечто вроде предчувствия рассказа.

— В шесть часов поет петух,

В десять — Пугачева.

Магазин закрыт до двух.

Ключ у Горбачева... ох-ух...

Эти частушки, назойливо лезущие в уши, тоже своего рода сигнал, тоже знак!

— Ой, спасибо Михаилу,
Ой, спасибо Горбачу!
Я вчера совсем не выпил
И сегодня не хочу!

Предчувствие рассказа укрепилося во мне.

— Предчувствие рассказа для моей жены — почти сексуальное удовольствие, — ревниво поясняет мой муж. — Не зря у нее всегда на машинке торчит вверх, наготове, один из главных членов, всегда готовый совокупиться с ее одаренностью... Я имею в виду держатель бумаги.

— Я родил! — с детской радостью закричал Н. Н., показывая надпись на дисплее компьютера, «персоналки»: ПИТОН РОДИЛ ПИТОНЧИКА. — Кто следующий?

Следующим был мой муж. И слава богу, не будет мне мешать. Тут Н. Н. переключил телевизор на другую программу, где актер сделал такое лицо, словно у него запор. Значит, сейчас запоет о несчастной любви. И точно — запел. Тогда я стала смотреть на Бусю таким же взглядом, как у актера. Буся понял меня несколько не так:

— Ты в этом платье выглядишь, — бухнул он.

Предчувствие рассказа стало отдаляться, и я заскрипела своими босоножками:

— Так если б муж меня одевал, я бы вообще всегда выглядела.

— Да... — протянул муж, сладострастно тыча в клавиши «персоналки» /пи-пи-пи — питон быстро пожирал там, на экране, кроликов, они только плакали/. — А я все больше специализируюсь по части раздевания.

Из-за стены соседи подтвердили что-то относительно музыкальное:

— У милашки под рубашкой

Птичка гнездышко свила.

А другая залетела

Два яичка занесла.

— Буся, так что же было с Гертрудой? — вернулась я к разглядыванию полыни в вазе — шлет она мне сигналы-знаки своим свечением или не шлет? На фоне серебристых немецких обоев, в вазе с китайскими дракончиками, рождающими огонь, простая полынь казалась изысканным блюдом для глаз. Она распространяла странное белое сияние вокруг себя, льущееся прямо мне в душу.

— Тараканы не заводятся, когда полынь, — бухнул Буся. — А я тебе рассказывал про этого латыша, который лично участвовал в снятии памятника Сталину возле вокзала — так и до сих пор, как сбросили его на ближайшую помойку, он там и лежит, на виду у всех, в мусоре, с простертой вдаль рукой, показывающей на ближайшую грудку отбросов?.. Квас нужно купить. Сбегаю.

Вот так сегодня весь вечер. Только он начнет что-нибудь интересное, как сразу же перескочит на что-то мелкое, хотя и

ядренное. Вы скажете: не бывает мелкого и ядерного. А репа? Она растет, почти вся высунувшись не глубоко, а ядерная... Буся заранее мне сказал, что в Гамбурге в публичном доме, у него было происшествие, связанное со мной, а сам весь вечер где-то на уровне тараканов и кваса. Мое предчувствие застольного рассказа превратилось во что-то непонятное, почему-то похожее на каплю, которая — казалась — вот-вот упадет и превратится в застывший фрукт.

— А бочка с квасом очень дорогая, ооочень, — задохнулся вдруг Н. Н.

— Ура! Я родил. Питон родил питончика. Можно посчитать на компьютере, сколько стоит бочка с квасом. А можно рисовать. Вот солнце. Вот лес. Вот солнце. Вот лес.

Настоящее солнце, между тем, как на компьютере нарисованное, падало за лес. Квас возле Бусино нового дома сегодня даром наливали женщина-новоселка, ошалевшая от счастья. И жильцы-новоселы, все уже будучи под киром старались набрать бесплатный напиток куда только можно — даже в вазы из-под цветов и в детские ванночки.

— Унесешь, мальчик? — спросила продающая мальчика, наливая ему квас в большой таз.

— Советский человек все унесет, пронесет и вынесет, — вторил кому-то из очереди Буся, вернувшись с квасом — это чисто советские понятия: вынести через проходную, перебросить через забор.

— А бочка-то дорогая-я, — заклинился Н. Н.

— Может, у нее обет такой, — догадалась я. — Дала обет: получит квартиру — бочку с квасом даром продаст. Сами знаете, как у нас с квартирами-то.

— Нет, братцы, она сошла с ума, плясать по проводам скоро пойдет во увидите! Мы не успеем обещанных Бусей пирогов с мясом поест, а уже «скорая» приедет, — твердил Н. Н. /уж такой он был человек — чтобы ощутить глубину и объемность мира, представлял себе разные трагедии/.

Я начала оглядываться. Ведь нельзя, чтобы Бусины родители про это услышали. Их недоразвитая дочь Лена, 23 лет, которую они приучили первой выходить к гостям /гордились, что не бросили, не отдали ее/, сегодня спала. Я погрозила пальцем.

— В чем моя вина? — не понял Н. Н., наливая себе.

— Ты... был участником застоя, — перевела я разговор.

— Мы все были участниками, а за групповое преступление больше дадут, — опять пустился в трагические темы Н. Н., налил водочки Бусе и выпил из его рюмки. — Ну, хорошо, ты не пьешь, я могу это представить, но чисто умозрительно.

— Воду нашу надо пить — артезианская, аж голубоватая! Ну что говорить — точь-в-точь, как у обкомовских работников на улице Швецова. Там артезианский колодец тоже под домом.

— Буся, а продукты, интересно, где обкомовцы берут — без нитратов что бы? Где берут яйца и кур без сальмонелеза?

Это ведь лисьи хвосты, окислы азота — они нитраты дают,

Н. Н. предложил технологию ванн, которые полностью эти хвосты в небе уничтожают, нейтрализуют, но рабочие их не хотят — такие ванны, портят их, потому что тогда им не будут платить за вредность.

— Без риска можно есть только крупы, — заметила я.

— Только не о трупах за выпивкой! — умоляющее промолвил Н. Н.

— Буся, что это за история с проституткой в Гамбурге?

— Тише! Если мама услышит... — он плотно прикрыл дверь, ведущую в кухню. — Была там одна женщина из Еловского района...

Ничего себе! Я думала: наконец-то про Гамбург, а тут про нашу женщину, туристку, притом из Пермской области.

— ... подстрекаемый ею, я пошел со всеми в центр Гамбурга, там площадь и все магазины. Для педерастов и лесбиянок, для молодых и пожилых супругов, для извращенцев и импотентов.

— Буся, а как же вас туда отпустил руководитель группы? Они ведь обычно бдят.

— А чего не пустить: денег-то ни у кого уже не было. Я вот компьютер купил... Денег нет, а такие витрины: и для молодежков, и для инвалидов — по сексу.

— А спецмагазина для советских туристов нет? — спросил мой муж, не отрываясь от компьютера. — У нас ведь об эротике ни слова. Думают: ребенок любит свою родину, он и жену будет любить. А потом оказывается... Вы уткнулись в стену. Это компьютер мне написал. Из-за вас я в стену уткнулся.

Буся завелся про предохранительные меры против СПИДа, Н. Н. его так горячо поддержал, что я подумала: он о своих лисьих хвостах говорит. Но полынь была озарена прозрачным сиянием, и я услышала: речь о том, что нет ничего хуже нашей резины, от которой в постели тошнит, тем более, что у НИХ такие шелковистые, такие приятные, такие человеческие, ну прямо...

— Ну только что не разговаривают человеческим языком, — не удержался мой муж.

Н. Н. обиделся и уткнулся в Бусину полку с новыми журналами. Он раскрыл «Иностранку» — ого, Кафка, «Замок». Перестройка. Гласность. Открыл «Неву» — там тоже «Замок». Что-то с головой! Н. Н. стал загибать пальцы, подсчитывая, сколько выпил. И тут завывла сирена. Ага, что он говорил! На проводах танцует продавщица кваса? Н. Н. выглянул в окно — там все было по-прежнему: квас все не кончался, словно женщина дала обет продавать его вечно.

— Леночка проснулась! — прибежала на «сиренку» мама Буси из кухни. Вывели в гостинную Леночку. У нее было маленькое тельце без души, как гнездо без птички /такое впечатление, что птичка свила себе гнездышко, уютное, красивое, но по каким-то причинам не поселилась в нем, и оно стоит пустое/. Так и Ленино ухоженное тельце, наряженное в яркое цветастое платье, такое бьющее в глаза, что от него уставали все органы зрения, и скоро

у меня зародилась головная боль. Родители заботливо усадили Леночку за стол, и мать сама утерла салфеткой ее сопли. У всех гостей глаза полезли в разные стороны, Н. Н. вообще уткнулся головой себе в грудь. Я его окликнула, он тык-мык, ку-ку, угу — изрядно пьян. Кафка его доконал! В двух журналах один и тот же роман. Нельзя же так поступать с людьми! То никакой информации, а то сразу два перевода одного романа. Правда, один перевод плохой, но не в этом дело...

Но кажется, недолго нас еще так будут мучить демократией. Вот уже диктор телевидения сообщает, что в Алапаевске расстреляли демонстрацию. Боевые ночи Спасска — Алапаевские дни... и или Волочаевские? Забудешь тут, когда расстреливают... А в Еловском районе никкаких демонстраций. Это Буся при родителях опять нашел нейтральную тему. Там, в Еловском районе, у немцев свой поселок. Свои магазины, а в магазинах — такие витрины! Это когда в Еловском районе советским людям есть совсем нечего. Я была там в командировке — одни вафли в витринах. Даже пресловутого «завтрака туриста» — и того нет. Пирамиды из вафель.

— А как они тогда живут-то? — спросила мама Буси.

— Огородами, как еще. Натуральное хозяйство. Картофель свой, поросенок свой. Закуклились совсем. Чистая Африка. Но! Детей их, еловских, немцы впускают в свой магазин и угощают конфетами. Игрушек не дают, а конфеты всегда. После введения талонов на песок в еловских магазинах даже вафли стали исчезать.

В это время сестра Буси захотела прогуляться, и родители стали собирать ее на улицу /обувать, одевать/. Когда дверь за ними захлопнулась, начищенное столовое серебро Буси пришлось пускать блики, бликовать начала и китайская ваза с польностью, сияние ее стало заметнее, и Буся зачастил: мужики еловские, естественно, все спились, а куда им деньги девать! Ну, а жены из-за этого не могут реализовать свои естественные желания. И один из немцев, холостой, ухаживает за этой еловской учительницей. Она-то и сказала Бусе в Гамбурге:

— Ты знаешь ведь немецкий — подойди, спроси: сколько проститутка просит за ночь?

* * *

Холст, масло, 2м×3м.

Художник представил нам пейзаж Еловского района с его случным колоритом, дождливым напыльем, тоскливым отсутствием. Лес, поляна, бугор, яма. Речка вопрошает. Медведь-шатун стоит на задних лапах. Он тоскует по шишкинскому реализму. Краски так резко чередуются, что мы понимаем: он хочет есть. Медведь словно сглатывает взглядом пространство.

Посредине холст протерт и ведет нас в другой мир: мир прибавочной стоимости, компьютеризации и зловещего изобилия товаров. Это мы видим магазин немцев из ФРГ. Они строят здесь

газопровод. Перед витриной стоит еловский мальчик. Он смотрит на витрину с розовыми, зелеными и красными бегемотиками. На золотом крыльце супермаркета сидит молодой немец-специалист и пишет письмо бабушке в ФРГ: «Дорогая грессмуттер! Я не понимаю, как эти советские могли победить в войне нас. Да они, наверное, и сами этого не понимают...»

* * *

Сирена за окном вернула меня к реальности. Н. Н. очнулся: ага, что он говорил — это «скорая» приехала за бочкой с квасом.

Но это кричала Лена, сестра Буси. Она неподражаемо умела подражать звуку сирены, впрочем, может быть, это выходило у нее случайно. Буся немедленно перевел разговор: как он выменял себе Булгакова на «Поиск-87», но книголюб все колебался, все прижимал Булгакова к груди и повторял: «Больно. Больно».

— А ты бы в магазине свободного книгообмена — там Булгаков по второй категории, — сказала я.

— Не могу я в этом магазине, — набычился Буся.

Не мог он в этом магазине. Там продавщицы с такими жутко-красиво-дьявольскими лицами, и в каждом глазу — по огоньку, а в каждом огоньке мелькает прибавочная стоимость, которую они с обмена каждой книги жаждут. Однажды я дочь послала с запиской к продавщице, а та за кулисами долго-долго перед зеркалом поправляла лицо. У них это зеркало, и они через каждые полчаса уходят за кулисы поправлять лицо, доводя его до средне-статистического уровня гуманности. Не ходи, доченька, работать в книгообмен — зверенышем станешь! А вот бы ставить там кривые зеркала! Посмотрели бы они в кривое зеркало, искривило бы кривое зеркало кривое лицо в сторону красоты, зашептали бы чудо-юдины губы: «Я оттягиваюсь! Я тащусь от своего фейса!» И выходили бы продавщицы из-за кулис, мня себя красавицами. И покупатели бы не обманывались, видя их в натуральном зверском виде...

— Нет, что ни говорите, а бочка с квасом очень дорогая, — Н. Н. не даст мне сегодня дослушать рассказ Буси — ведь уже родители уходят в комнату Лены, а он все про свою бочку. И вдруг: — Так ты, Буся, начал про витрины с гондонами в Гамбурге?..

— А помните, мы в детстве читали Пушкина и вместо «царь Гвидон» всегда говорили «царь Гондон»? Чисто мнемонический прием, действовал безотказно, страницами сказка запомнилась... — завелся мой муж, но тут же получил — в поисках, чего бы в него бросить, я начала бросать на него такие взгляды!

— Витрины... ну на одной, например, у куклы такие розовые полушария вместо грудей, про которые в народе говорят: «На одну ляжешь, другой укроешься — грома не услышишь». Любои бы тут ударился в грезофарс...

— Грязофарс, — поморщился Н. Н. и вдруг снова отключился.

— А почему, Буся, именно тебя выбрали женщины — идти в сексцентр? Кстати, сколько женщин пошло туда?

А с кем еще пойти бедным женщинам? Не с руководителем же группы, который смотрит на собеседницу строго, как член политбюро. И если бы он вздумал кого-нибудь соблазнить, наверняка нашел бы только такие слова: «Мы с тобой ляжем и зачнем верного ленинца...» Потом там был один холостой попугаевед из сибирского зоопарка — говорил исключительно о попугаях, что вывел разумную породу, и пересказывал: попугаи тоже о нем, якобы, говорили, будто впятером в ряд усаживаются на его половом члене. Ну и вообще, советские мужчины, вымотанные нашей экологической обстановкой. Как это звучит в японском хокку:

Я понюхал смог.

И не смог

*Поймать гейшу.**

— Так, может, советам нужны такие же витрины, как в Гамбурге — учитывая нашу экологическую обстановку? — спросил муж у пространства — компьютер вдруг ответил ему надписью: «Поздравляю с успехом!» — Урра, перехожу на сложность шесть!

Буся продолжал скучным голосом: была там в группе супружеская пара, причем муж — ответственный работник, и жена все сокрушалась, что он такой ответственный, такой ответственный, так сильно много очень только думает о работе, что на жену у него уже сил не остается. Она ничего плохого не говорила, наоборот, всегда сочувственно, таким образом предлагая себя, «смотрите, какая я неудовлетворенная».

Ровное сияние лампы стояло в комнате. Буся продолжал:

— Ну, идем... проституток не видно. И вдруг мы вышли с площади в переулок — они стоят. Видимо, так они и стоят по переулочкам, лучами звезды расходящимся от площади.

— Подожди, Буся! Они чем-то отличаются от других женщин?

— Только тем, что стоят. Если б они шли, я б ни за что не подумал. И вот, значит, я подхожу к одной, лет двадцати пяти: «Можно вас спросить?» — по-немецки. А она — раз! — меня под локоть и быстро распахивает дверь в свое заведение. Я и ахнуть не успел...

— Вот и верь после этого людям!

Я ему отдалась при луне,

Ну а он мои белые груди

Ой узлом завязал на спине, — пропела сварливым голосом сестра Буси, повторяя то, что доносилось от соседей. Как некстати возникла она в этот миг застойного рассказа! А тут еще звонок в дверь: пришла соседка снизу и с безумным видом бросилась к компьютеру, на экране которого извивался огромный питон: пи-пи-пи.

* На самом деле там есть еще четвертая строка: «Бесконечная ночь».

— Вот каковские стрелы вы на меня пускаете! Я-то думаю: что это за молоньи из верхней квартиры...

Мой муж закрыл компьютер своим телом и чуть ли не начал Горбачева цитировать про компьютеризацию, но Буся первый догадался крутануть пальцем у виска, и мы все поняли. Мама Буси вежливо выпроводила гостью, но та вдруг вернулась, потрясла за плечо спящего Н. Н. и стала угрожать милицией: мол, одного уже умертвили.

— Да нет, он под киром, — веско возражал Буся.

Сестра его Лена в это время благообразно, по-старинному, раскланивалась с пришедшей обличать нас.

— В чем измерять кир? — спросил спящий Н. Н. — в булычах... По-моему, он все слышит.

* * *

Дерево, масло, лак. Художник на деревянной доске изобразил пятерых советских туристок возле борделя в Гамбурге. По-разному относится автор к своим героиням. В центре стоит девушка с бледными щеками, от нее исходит ровный свет, как от Наташи Ростовской. У соседки ее на шее вздулись какие-то совершенно ведьмины жилы. Третья стыдливо уткнулась в плечо второй, ее роскошные волосы распущены до самых ягодич, но в самом конце, на ягодичах, все-таки заплетены в маленькую косичку, что говорит о том, что главное для советской женщины — не сексуальная привлекательность, а идейность. В глазах четвертой — строгий подсчет, сколько она потеряла со своим мужем-идиотом, отдавая ему каждую неделю бесплатно один раз. Наконец пятая молодая туристка — само любопытство в познании мира капитала с его волчьими законами... Кое-где краска отсутствует, и сквозь одежду женщин проступает рисунок древесного среза».

* * *

В борделе Буся растерялся. Во-первых, это не входило в его планы. Во-вторых, он в Гамбурге очень плохо питался (для комплекции Буси того, что давали, было очень и очень недостаточно). А в-третьих, у него не было денег. И вообще, он не знал, как себя в таких вести, если учесть первое, второе и третье...

— Иметь или не иметь — вот в чем вопрос, — сквозь сон пробормотал Н. Н., словно будучи во сне кем-то иным, а не Н. Н.

— Тише, вы! — Буся проверил дверь в комнату к родителям. — А вы ешьте пока икру минтая, потом будут пирожки, правда, икра горьковата, но попалась такая партия.

— В обкоме не горькая. Членам партии — другая партия, — завелась я. — Вчера муж тоже горькую принес. Грузчик и не может достать ничего, а как другие-то живут, простые люди?

— Простые, не грузчики, — пояснил муж. — Буся, ну и что ты стал делать с проституткой? Ну что ты так хранишь конспира-

цию — родители копили тебе деньги на свадьбу, значит, думали о женитьбе...

— Одно дело: свадьба, а другое, когда их сын, журналист, подошел за границей к проститутке, — сказал Буся. — Я так прямо и сказал ей: являюсь: советским туристом. По-русски. А она как начала хохотать. И не может остановиться. Такая у них реакция на советских.

Ну, к тому же Буся в самом деле не похож на советского человека, а похож на артиста Невинного.

— А проститутка знала русский? Впрочем, как профессионалка, она должна знать по-немногу все языки. Там, может, они по категориям, как при книгообмене — в зависимости от того, сколько языков знает, сколько адреналина в крови...

— Едреналина, — сказал спящий Н. Н.

А может, как у водителей автобуса, у проституток классность? И оплата соответственно. В общем, Буся, чтобы оборвать смех в борделе, спросил проститутку, как ее зовут. Гертруда! А он только что прочел мой роман, и там фанатичная коммунистка... в общем, Буся и говорит «В России иногда это имя переводится как герой труда».

— А женщины возле борделя тебя в это время ждут?

— Ждут. Ну а Гертруда не очень хорошо, конечно, понимала по-русски. Она поняла меня по-своему: в России у меня знакомая проститутка Гертруда, которой приходится много героически трудиться в публичном доме. А у них в Гамбурге работы мало, СПИДа все боятся.

— Ты бы ей сказал, что в Перми СПИД не страшен, ведь из-за загрязненности среды потенция у многих упала. Даже если СПИД и начнется, то из-за этого он будет ме-е-едленно распространяться.

— Не было бы счастья да несчастье помогло... поможет, — буркнул Н. Н., и я поняла, что во сне он — не он.

Наконец Буся решился и спросил у Гертруды: а если работа есть, то сколько она берет за ночь? «Вообще-то ночь стоит двадцать пять, но ведь на всю ночь почти никто не остается, значит и платит не полностью». — «А за ночь — полностью?» — «За ночь — да». И тут — неожиданно для Гертруды — Буся стал прощаться. Она страшно удивилась. Так и рождаются легенды о загадочной русской душе! Конечно, она же думала, что Буся уже торгуется, готова была пойти на уступки, посвятить эту ночь развивающимся странам... В общем, Гертруда решительно взяла Бусю за руку и... запела «Интернационал» по-немецки. Что делать? Буся стал подпевать. По-русски.

— Ты запел и вдруг понял, что смысл какой-то недемократический: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки» — почему навеки!

Буся внимательно посмотрел на меня:

— Интернационал — это «никто не даст нам избавленья».

— Никто не даст нам, — подтвердил Н. Н., не открывая глаз.

— Огонек! — вскинулась я. — Статья министра из Конго! Мол, если нашим сказать, что революция открыла новую эру, то им продают все и задешево.

Буся решил тут откусить водочки. И закусил икрой минтая.

— Хорошо. Два национальных символа, вот их бы внести в герб.

— И в гимн вставить. Икорка и водка — союз нерушимый... Действительно же нерушимый, — сказал муж, выпивая вслед за Бусей.

— Ты нормальный? — спросила я. — Ехать далеко.

— Мы нормальные, только в норму вошли, а до этого были слева от нормы.

Буся скороговоркой решил все закончить: как он спел первый куплет «Интернационала» и вдруг понял, что второго не помнит. Но поскольку он подумал, что свой гражданский долг он выполнил, то пошел к выходу. А Гертруда осталась в полном изумлении.

— Ты от волнения, что слова забыл, небось тяжело задышал, а она решила, что ты наконец-то возбудился...

Так или иначе, Буся вышел из борделя и сказал своим женщинам, что ночь стоит 25 долларов. Жена ответственного работника так даже вскрикнула.

— Все члены ее ослабли, и она упала в его объятия, — как оракул, продолжал вещать Н.Н., и мы запереглядывались — не к нему ли придется вызывать «скорую».

Женщины-туристки, не скрываясь от Буси, стали поджимать губы. Сколько они теряют — целые состояния. Обида за бесцельно прожитые годы отравит им навсегда всю радость супружеских объятий... Но не только разочарование пробежало по лицам спутниц Буси — по иным еще пробежало подозрение: что Буся делал там так долго? Может, не на 25, а хотя бы на 5-то долларов он там что-то и делал?

— Я пел «Интернационал». Вы же слышали!

— Слышали, — сказала еловская учительница. — А может, это не ты пел.

— Не я пел «Интернационал»? В борделе! Не я? Пел! «Интернационал» в борделе? Тогда кто?

* * *

«Скорую» в тот вечер ни к кому не вызывали — бурных проявлений помешательства, хождений по проводам и прочее не случилось. Но говорят, что тихое помешательство — самое неизлечимое.

Кажется, родители Буси ничего не прослышали про Гертруду. Но почему они в уголь сожгли пирожки — это вопрос.

Муж мой всю дорогу хотел завернуть в Мориновым в гости. Я не пускала его — в таком-то состоянии!

— В каком? Я совершенно трезв. Смотри! Сюда — влево, туда — направо. Вот верх, вот низ. И это — вперед, то назад.

Люди начали шарахаться от него. Тогда весь он напрягся, чтоб убедить меня в своем полном понимании ситуации.

— Двадцатый век. Перестройка, — голосом тестируемого проскандировал он.

* * *

Бронза, высота 89 см. Скульптор представил нам сцену «Задержание при общем недержании». Мы видим, как забирают в медвытрезвитель компанию подвыпивших интеллигентов. Должно быть дело происходит в конце квартала, и у вытрезвителя горит план — они перешли на полный хозрасчет. Это ясно из того, что интеллигенты возмущены, мужчины вырываются, одна женщина с записной книжкой в руках, плачет, потому что книжку у нее вырывает рослый малый в милицейской форме.

Конечно, непонятно, каково содержание той массы, которую то и дело изрыгает из себя лежащий на асфальте человек явно не из этой компании. Что касается жидкости, которая бьет фонтаном из расстегнутой ширинки бронзовых штанов другого лежащего, то скорее всего, это водопроводная вода. Скульптура подключена к крану.

Странной кажется фигура медведя, который на задних лапах подбирается сзади к милиционеру.

* * *

— Гамбург, как известно, находится в Еловском районе Пермской области. Да-да. Там живут немцы из ФРГ. Еловский район расположен на юго-востоке, а если пройти 8 шагов к Барде, свернув на 8 плевков к Воткинскому водохранилищу и посмотрев немного вкось за Запад, то будет видно зарево огромного капиталистического спрута. Это Гамбург. Там — немцы. У них правило: «Советских не кормить и не дразнить», а два немца... почему тебе не рассказать? Ты же рассказов хотела! Картин, скульптур! Балет на льду не надо? Ну и что в вытрезвителе. Хочешь балет на льду?

* * *

История марксистско-ленинского учения. Ледяное шоу.

Играет старинная музыка. Коньки старого образца. Совсем по-гётовски /смотри картину «Гете на коньках»/ катаются на сцене три социалиста-утописта: «Сен-Симон, Фурье, Оуэн. Заложив руки за спины. Но вот музыка убыстряется. Появляются капиталисты. С ними — женщина. Это прибавочная стоимость. Они кружат вокруг нее. Наконец, после нескольких поддержек, один капиталист овладевает ею. Перебрасывает ее другому, третьему.

Затемнение.

В луче света сверкает что-то похожее на солнце. Но это оказывается лысина. Под ней — сам Ленин. Он мощно делает 32 фуэте...

— Надоело! Замолчи!

— Ну ты даешь... я еще хотел круговую композицию, чтобы советские политзаключенные катались руки за спину... почти как социалисты-утописты...

Июль 1988 г.

ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ

Муж спал и не слышал ни гудка, ни радио, хотя оно беспрерывно повторяло: «Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога!»

— Вставай же — воздушную тревогу сыграли!

— Когда? — деловито спросил он.

— Пятнадцать минут назад, — я посмотрела на часы — было шесть.

Зачем ты только меня разбудила — ракеты уже на подходе. С территории Пакистана до Урала они должны лететь 22 минуты.

— Что же делать?

— А ты посмотри в форточку — это должно быть красивое зрелище. Когда ракеты входят в стратосферу — они похожи на падающие звезды...

Ну, значит, есть же в этом хоть что-то хорошее! Я выглянула в форточку. На улице почему-то пусто. Что это значит? Все решили оставаться дома? Заводы продолжают гудеть. Неужели это третья мировая? Да, должны отключить воду, свет и газ — вспомнила я смутные сведения из учебника по ГО. Включила воду — нет. Но ее уже месяц нет в Свердловском районе города Перми. Сегодня 12 апреля, а я в последний раз мылась 12 марта. Но ведь диамат, а также истмат считают, что бытие первично, а мытие вторично. Свет оказался. И я включила телевизор. Там изображали аэробику для здоровья, которое — может быть — даже понадобится. Не может быть, чтобы ракеты летели, а Москва показывала танцы. Но почему? В Чернобыле взорвалось, а киевлян на демонстрацию вывели. Только власти своих детей эвакуировали, и все. Значит, все может быть.

Под окном загудел автобус. Я выглянула: офицеры из соседнего подъезда ловко и дисциплинированно осуществляли посадку — им махали жены и дети. Все одеты по-походному, с вещами. Тогда я тоже разбудила своих детей, быстро одела и вышла на улицу. Убежище закрыто на замок. Муж кинулся к автомату — звонить в милицию. В это время приехал тот же автобус — в него уселись жены и дети военных. Я попросилась с детьми на свободное место, но мне отказали. Все эти люди сейчас уедут и спасутся. От них на земле пойдет род людской. Хомоофицерус. И тут я отчетливо поняла, что судьба есть. В студенчестве я сочиняла

куплеты «Девушка на выданье». Чего там только не было!! «Мама, я физика люблю, мама, я за физика пойду! Физик ядра расщепляет, но меня не замечает — вот за это я его люблю!» И так далее: химика, токаря, медика, спортсмена. А в конце было: «Мама, офицера я люблю! Мама, за вкюшника пойду. Раз уж душой рождена — никому я не нужна, буду офицера жена!» А сейчас вот уехала бы вместе с ними спастись. И когда только уже муж дозвонится! Все занято, занято.

Народ кругом появился — все проснулись наконец. Бегут с растерянными лицами. И только у одной женщины спокойное выражение. Все к ней: не знает ли она, куда нужно отправляться?

— Ну, не знаю, куда вам, а я лично иду на работу.

— На какую работу?

— На свою работу.

— Деревня! — пригвоздила ее одна из растерянных.

— Сама деревня!

Муж, наконец, дозвонился до милиции. И что оказывается: это ложная тревога! Растяпа какой-то дал по ошибке. Муж скорее звонить на радио: дайте отбой!

— А вы дайте нам текст!

— Какой текст? Вы что!

— Мы не можем без заверенного текста выйти в эфир.

— Да вы понимаете, что говорите! — закричал муж.

— Отчетливо понимаем. Мы все полетим с работы, если выйдем в эфир без заверенного текста.

В это время чуть ли не под ноги нам упали два тела. Лежат с переломанными ногами парни лет семнадцати и разговаривают... по-немецки. Я и раньше слыхала, что от потрясения люди начинают говорить на иностранных языках, но вот увидела такое в первый раз. Правда, тут же выяснилось, что один из ребят — немец, приехал из ГДР в гости к другу-студенту, их на ключ закрыли взрослые, работающие в третью смену. Пришлось выпрыгнуть со второго этажа. Вот теперь «голоса» про пермскую тревогу опять раструбят. Но есть же в этом что-то хорошее! Когда мой муж заявил в милицию, что тут иностранец из окна выбросился, сразу же по радио объявили отбой.

И мы вернулись в свою квартиру. А наш сосед Валентин Иванович только что проснулся и начал умываться.

— Слышали? — спрашиваю.

— А что? — вопросом на вопрос отвечает он.

Значит, ничего не слышал. А уж он нас доводил, обвинял! То из-за нашей кошки он не может ночами спать, когда она с ручки кухонной двери спрыгивает /она считает себя человеком и дверь открывает за ручку/, то мешает плач ребенка — он сразу же просыпается и не может заснуть. А вот заводских гудков он не слышал. Тут и выяснилось, как он страдает бессонницей! Есть же в этой тревоге что-то хорошее — теперь мы ему докажем, что спать не мешаем.

Попили мы с мужем валерьянки и — на работу. Он детей взял,

завести в сад. Как наиболее уравновешенный сегодня. Обычно я их по пути завожу, но сегодня я не в себе. Иду: навстречу все с... пряниками. В прозрачных кульках несут пряники. Причем — по-нескольку таких кульков каждый несет. А лица-то у всех несущих какие-то красивые, бичеподобные. Неужели чадолюбие после тревоги во всех таких мужиках проснулось? Или у меня галлюцинации? Дальше — хуже. На улице Карла Маркса вижу отчетливо плакат: «Конец света». И рядом — для убедительности: «Ремонт обуви». Оглянулась: никто внимание не обращает на это. Подошла ближе. Яблоко изображено, падающее с ветки яблони, рядом буквы: «Конец света». Точно: галлюцинации у меня. Потому что яблоко и конец света — как-то нелогично... Да, галлюцинации вообще-то должны начинаться со слуховых, а уж потом зрительные пойдут! И тут я вспомнила, как в почтовый ящик раньше бросали какие-то предупреждения о конце света. Одна из религиозных сект. Наверное, ошалели от гласности — плакаты вывешивают. Я все-таки подошла к мужчине с уверенными повадками: «Вы это видели?» — головой киваю в сторону плаката. Он понял меня превратно: всю оглядел, взял под руку и сказал:

— Все вижу. Сапоги я вам куплю. Вас как зовут?

Сапоги у меня, конечно... И мужчину можно понять: когда подбегает женщина, которая вся взволнованно дрожит, то конечно... Но сейчас я не хочу отвлекаться, обижаться там. Нужно разузнать про конец света. Не слишком ли это для бедных пермяков: с утра и воздушная тревога и конец света! И тут мне все объяснила девушка с хайратом на лбу. Этот плакат висит с 1 апреля. Юморины на Карла Маркса проводились. Потом все сняли, а это забыли. Как же, помню: были юморины. Вместо вина в «вино-водках» молоко продавали. Очередь образовалась еще длиннее, чем за вином, потому что с молоком нынче очень плохо. Юмора не получилось, но зато было в этом что-то и хорошее. Молока набрались.

— А пряники? — спросила у девушки. — Почему их все несут?

— Как — вы не знаете? Для браги. Сахар стал по талонам, так из пряников приспособились брагу разводить. А сегодня в городе в продажу выкинули сразу два сорта.

Успокоилась. Подхожу к своей конторе. Догоняет меня Алла.

— Тревогу слышала? — спрашиваю. — Ну и что стала делать?

— А, говорю мужу: «Давай с тобой в последний раз!» А он: «Давай». А потом эти сволочи объявляют, что тревога ложная.

— Так ведь слава богу!

— Но мы-то думали: конец! И никаких мер предохранительных не приняли.

Ее можно понять. Куда сейчас рожать в такую пермскую действительность! Песка и того нет. Но может, еще все обойдется...

Вечером моя дочь-пятиклассница попросила рубль. Зачем? У ее подруги по классу папа умер. Из-за чего? А переволновался из-за тревоги и умер. На венки в классе деньги собирают. Вот такие новости. Я, конечно, боялась, что сегодня будут инсульты,

инфаркты и эти... инвинаверитас. Но смерть! Это для меня уже слишком — все за один день ведь! И я решительно включила телевизор, чтобы отвлечься. Передавали интервью с начальником ГО г. Перми.

Репортер. Вы знаете, что люди даже умирали, переволновавшись?

Начальник ГО. Что делать? Все люди смертны.*

* * *

Прошел месяц. Все успокоилось. Только моя коллега Алла все еще взволнована: вставать ей на учет по-беременности или нет. С одной стороны, сейчас не время заводить детей. Муж получает на заводе по-конечному результату. В последнюю зарплату восемь рублей принес. С другой стороны, он с утра, когда тревога была, совершенно охладел к супружеским обязанностям. Может быть, для Аллы это последний шанс. К тому же на работе ее могут поставить в очередь на квартиру, если будет ребенок. Так что во всем этом есть и что-то хорошее.

** Героине, видимо, это показалось. На самом деле тогда по телевизору было интервью с директором Пермского водоканала. Вот его примерное содержание:*
Репортер. Мы получаем многочисленные телеграммы с жалобами на отсутствие всякой воды.

Директор. Да, воды нет ввиду весеннего паводка.

Репортер. Но ведь паводки бывают каждый год!

Директор. Да, это природа.

Пермь. Май 1988 г.

ГОЛУБОЙ АНГАР

парафантастический сюжет

Медленно продвигался день на крохотной биостанции; из окна открывался вид на болотистые озера и пустые поля, на столе — колбы, колбочки, флаконы с этикетками из лейкопластыря. Ольга отодвинула бинокляр, с бродящими под стеклышком бактериями; потянулась, встала, накинув пальтецо совиндпошива, вышла проводить рано улывающий в осенних сумерках дневной свет.

У соседней лаборатории Макаевского балагурили с лаборантками два менеэса. Ольга спускалась по тропинке к почерневшей некрашенной калитке; кивнула сторожу, вечно что-то жующему за окошечком будки. Привычный маршрут. Слева — лес, с черными провалами на месте отлетевших багровых листьев; уходящий в черный пустой провал леса свинцово поблескивающий озерный клин и торфяные островки, чернеющие по мутной водиче. Направо, уводят глаз за горизонт обобществленные бескрайние поля соседнего совхоза. Конец октября, но там еще копошатся согнутые фигурки. «Я человек. Волосы мои — лес, глаза — озера, тело — земля...» — сказала Ольга, смотря на заросший ряской край, и пошла дальше к синим кустам можжевельника и зарослям серебристого ивняка — вода там была чистой, и плыли по ней удивительные серебряно-голубые тени.

Но место оказалось уже занятым; на бережку стоял Борис Лавров из химической лаборатории, он говорил сам с собой и курил и не видел Ольги. Она застенчиво потрогала свое пальтецо совиндпошива, проверяя прическу, прижала пальцы к коже, к корням — из-под длинных и тощих ее волос вырастал слабый пушок.

— Здравствуй, старая ведьма! — бодро гаркнул добрый молодец.

— Здравствуй, добрый молодец, — кротко ответила ему старая ведьма.

Удачно подобрав к месту диалог из какой-то сказочки, она уставилась на свое изображение в чистую синюю воду; потом перевела глаза на Лаврова. Тот сплюнул раз и другой, нехотя на воду и обернулся в ее сторону, закивал ей и пошел навстречу.

— Погуляем? или домой? Ты не знаешь, что на ужин?

— По-моему, как обычно... — безразличным тоном произнесла Ольга.

— А как это, обычно?

— Пир — гусь лапчатый, лук репчатый, — странно пояснила она, видимо все еще погруженная в сказочную семантику.

— Гуси и куры прибудут только под Новый Год, а у здешних — саркома, во всяком случае, у кур. Но могу предложить кефир, собственного приготовления, вчера заквасил грибами; теперь все приглашают на «чай», ну а я — на кефир, как, не желаете? — Лавров заинтересованно посмотрел ей в глаза.

— Неужели и Новый Год здесь? — жалобно вздохнула Ольга.

— А что плохого? Не терпится вернуться в свою однокомнатную сортирку? — Всегда успеем! Здесь есть все... для работы. Будем изучать на здешних курах активность ретровирусов, возрастающую при низких температурах, приближенных к космическим...

И тут они заметили незнакомца с рюкзаком за спиной, уверенно шагающего с другой стороны озера по направлению к их лагерю — новое лицо!

— Это вместо Димы, — уверенно сказал Лавров.

— То есть как, вместо Димы?! — ужаснулась Ольга. — Он же вернется...

Незнакомец тоже заметил их, помахал рукой и что-то прокричал; они двинулись ему навстречу.

— Вы к нам? — небрежно осведомился, когда сошлись, Борис. — А что в рюкзачке? Надеюсь, не одни тетрадошки с записями проб и ошибок?

— Три баночки ветчины — весь домашний запас; больше ничего не успел, собрался за пару часов...

— Это нам на зубок, — подмигнул Ольге Лавров. — А к чему такая поспешность? Если вы вместо Димы, то...

— Димы? Я и не знаю, кто это. Я в лабораторию Макаевского...

Ольга успокоенно глянула на незнакомца — у него был высокий рост и широкий шаг, и он заметно забирал вперед. Ольга, оказавшаяся поначалу в середине, была постепенно вытеснена на задний план Борисом; он завел с пришельцем какой-то свой, заинтересованный разговор. Ольга тоскливо плелась позади, поглядывая на две спины — плотную к низу Бориса в сером пальто с хвостиком, то есть с хлястиком, и худую, сутуловатую — незнакомца, с рюкзаком в виде сморщенной мужеской груши... Уже у самой калитки они оглянулись в ее сторону и приостановились, поджидая.

— А как вам здешняя местность? — справился вдруг Борис.

— Прекрасный вид! Конечно, не Швейцария, но почти Швеция, — незнакомец нажал ногой в серебристо-бурый мох. — Кругом озеро Меларен, а это наш Стокгольм, — он кивнул в сторону лагеря.

«Совершенный Стокгольм, — беседовал он уже с Ольгой, проходя по территории биостанции, — так строили древние викинги, — он показал на дощатые, почерневшие от дождей, некрашенные домики, — доски и бревна ставили вертикально, вверх, занимая сколько хотели пространства; на Руси же, привыкли ограничивать себя... на одну длину уложенного горизонтально бревна, иногда, правда, кто побогаче, надстраивал следующий этаж, и получался этакий двухэтажный дворец о две комнатенки».

Ольга с уважением глянула на домики и заметила в одном из окошек гигантскую трехлитровую банку, доверху забитую окурками и пеплом.

— Это что! — вмешался Лавров. — Вот я где-то вычитал, не помню, скорее всего, в «Иностранке» — там один мизантроп-миллионер скупил пол-улицы, не то правую, не то левую сторону в фешенебельном районе загородных вилл, с безумно дорогой землей; и на своей стороне снес все дома, а вместо них ровно в середине поставил малюсенький домик с одной-единственной комнаткой! Можете ли вы представить запредельный гнев соседей?

— Человек — широкая натура... — грустно отозвался вновь прибывший.

— В этом бетонном бункере у нас столовая, с одной стороны, а с другой — склад, — пояснял попутно Борис.

— Встретимся за ужином... — сказала Ольга, сворачивая к себе.

Из своего окошка она проводила взглядом две знакомые спины и встретила со строгим лицом Макаевского, выбрасывавшего на крыльцо чьи-то облепленные грязью резиновые сапоги... Иногда он «собственноручно» следил за разгильдяями, не желавшими соблюдать порядок. Это составляло его эмоциональную разрядку между научными изысканиями. Возможно, подражая ему на свой лад, под воздействием тех же импульсов, она стала лениво поправлять пылившиеся в вазе сухие иммортели...

В окне, как на экране, теперь появилась лаборантка; нежно лиловели ее покрашенные губы в тон бледно-лилового стеганного финского пальто. Пальто и губы двигались в сторону столовой... «Зачем ей губы? — подумала Ольга. — Все равно сейчас «съест»... Показались Нина с Вадимом — супружеская чета менеэсов, оба в прозрачных пленочных плащах. Складки полиэтилена, лиловая стеганка, будто из самой тонкой спринцовки распылявшийся «ненатуральный» дождик — влажно и красиво... Лаборантка казалась прекрасной принцессой, а менеэсы — ее свитой... «Возможно, так и есть, — подумала Ольга. — Они создают, а она потребляет, правда, ее зарплата... хотя у принцесс и вовсе не бывает никакой зарплаты, они просто живут на всем готовом, даже не замечая, и все время скучают, страдают и ждут принцев или каких-то чудес... как и эта лаборантка с кротким нежным именем Людмила».

Прикрывшись пленкой, Ольга выбралась наружу. Влажный

газообразный воздух был насыщен ионными парами и электричеством. Она вдыхала глубоко и жадно по дороге к столовой... Там всю хлопотали дежурные, на общем большом, под желтым шаром столе уже были расставлены салаты — капуста с морковкой и еще что-то в том же духе. Она улыбнулась Нине, уже сидевшей за столом. У Нины было энергичное лицо и влажные черные волосы до плеч, тоже насыщенные электричеством. Ее муж Вадим, псевдоспортивного вида, помогал таскать тарелки из кухни. Лаборантка с отрешенным лицом смотрела не то в пространство, не то на свое отражение в окне — время от времени она потряхивала своей головой с кудрями, после чего проверяла, на месте ли бантик.

Были также люди Сапунова, и входил уже в дверь со своими Макаевский, включая Лаврова и вновь прибывшего. Пока Макаевский представлял новичка — «... Леонид Андреевич, старший научный...» Лавров, не откладывая приложился к капустке; залоснились его смазанные постным маслом усы. Валентина Сергеевна, старший научный, перестала рассматривать свой гороховый жакет и последовала его примеру. К ним подключились и остальные.

После жареного окуня с картошкой, пили чай...

— Серж, — начала любившая побалагурить за чайком Нина, — что ты никогда домой не выезжаешь, сидишь все здесь и сидишь... ты что, с женой развелся?

— Угу... — промычал Серж.

— Нет, правда? А из-за чего? — разыгрывала удивление Нина.

— Она дочь нашу Аэробией назвала... — бубнил Серж. Хохмочка эта повторялась едва не каждый день, на этот раз, стоило посвятить и вновь прибывшего...

— Что, и в паспорте — Аэробия?

— И в паспорте.

«Серж, покажите нам паспорт, вы опять паспорт не принесли...» — волновалась, как обычно, лаборантка. Включили цветной телевизор, темный экран озарился жесткими отечественными колерами. В маленьком государстве типа Барбадос или Белиз шла ожесточенная борьба левых лейбористов с правыми лейбористами же. «Теперь и у нас поделились, левые и правые...» — завздыхал Макаевский.

— А у вас в семье есть реабилитированные? — как-то быстро, вдруг осведомилась у него Валентина Сергеевна, обладательница горохового жакета.

— Минувало, по счастью... — багровея от ее внезапной дерзости ответил Макаевский. — Разве только я сам, после инфаркта... впрочем, вы все можете разузнать в моем личном деле.

— Ну зачем же так? Я ведь по-дружески, просто поинтересовалась... — стала запинаться Валентина Сергеевна. — Вы ведь у нас человек новый — лет 8—7 всего...

«Все с Олимпиады пошло, помните в 80-м, завертелось, закружилось... — переводил на шутку Серж. — Раньше я как жил? За

границей все кипит, бурлит, а у нас тишина и рай... в семье. Жена — правая, любовница — левая... Жена — Серафима, любовница — Херувима. Но потом моя Серафима дочь почему-то Аэробией назвала, и я от нее почему-то сбежал... к Херувиме; а у той как раз сын из школы принес двойку за сочинение на свободную тему, он там написал, что его любимый герой — Остап Бендер, потому что он был бомжем и рэкетиrom. И я опять побежал... куда глаза глядят, пока не очутился на этой крошечной биостанции, где и спасаюсь до сих пор одной лишь работой, которой ничто так не способствует, как хорошие, теплые и дружественные отношения среди моих коллег...».

«А где у нас все-таки, Дима Цатлин? — прервал его Макаевский. — Оля, вы ведь с ним работали...» «Работала», — неслышно, одними губами прошелестела Ольга. «Пора в милицию заявлять!» — кто-то сказал. «Может быть он еще вернется, я же показывала записку...» — начала обретать голос Ольга. «Записку... — завозмущался кто-то. — Между прочим, это называется прогул!»

— А если случилось что?

— В милицию надо.

— Прогул! Прогул! — скандировало несколько голосов.

— И в милицию заявить и прогул поставить... — с жестковатым юморком обобщил Серж.

— Так и будет исполнено, — всерьез заявил Макаевский.

— Ну это еще не точно... — счел нужным высказаться завлаб Сапунов. — То есть в милицию-то вы уж конечно завили, а вот насчет прогулов... Цатлин все-таки из моей лаборатории, так что мне и моим решать».

— Все, все будем решать! — уже яростно хрипела Валентина Сергеевна. — У нас общий табель! Весной в мае, он тоже исчезал.

— Всего на один день... — заступилась Ольга.

— А кто у нас табель ведет? — хохотнул кто-то. — Людочка табель ведет, пусть она и решает!

Все дружно смеялись, кроме Людочки-лаборантки, сидевшей с самым серьезным лицом, как будто от нее и в самом деле что-то зависело...

Ольга вернулась к себе уже около 10-ти. Было беспокойно. «А вдруг и в самом-деле, случилось что-то?» — неотступно думала она о Диме. Прилегла в лаборатории на холодную скользкую кушетку — так он часто ночевал... Свет не зажигала, в окне и без того назойливо сиял, стоявший у дома фонарь. Дождик кончился, гонял тучи ветер и прозно шептали деревья. Сколько она пролежала? Минут 5, 10... и вдруг почувствовала странный сухой щелчок, потом еще... Она встала и зажгла свет, подошла к пробиркам на столе, все было в порядке — реакции шли замедленно, ни брожения, ни разбитого стекла. Снова щелчок... «У меня просто болит голова, надо найти анальгин...» — она открыла почти пустую аптечку, анальгина, конечно же, не было. «Сбегаю к Макаевскому», — решила Ольга. Распахнув дверь, заметила в светящейся полосе чью-то бредущую от калитки, сгорбленную

фигуру — это, кажется, был сегодняшний новичок, Леонид Андреевич...

У Макаевского еще не ложились, было не заперто; аптечка висела на стене в холодном необогревавшемся коридорчике. Пока Ольга искала таблетки и потом, по дороге к себе — щелчков не было... «Странно», — думала она, сжимая в кармашке пачечку с анальгином. Леонид Андреевич стоял возле ее домика, заглядывая зачем-то в темное окно. «Вы, случайно, не заблудились? Вам — туда!» — махнула на соседние строения. «Есть немного», — охотно признался тот.

Ольга шмыгнула к себе. Проглотив анальгин с глотком воды из чайника, она снова почувствовала где-то в затылке знакомый сухой щелчок. Леонид Андреевич все стоял в полосе света на пол-пути к владениям Макаевского. Возможно, курил? Она прилегла на кушетку, стараясь расслабить нервы — не помогало, звуки в состоянии покоя, казалось еще усилились. Не выдержав, она распахнула дверь, окликнула Леонида Андреевича... Тот сразу же подоспел, будто и ждал, что его позовут...

Никаких щелчков он не чувствовал; спокойно выслушав ее, включил зачем-то в розетку забытый на стуле утюг. Не успев даже удивиться этой странной манипуляции, Ольга услышала особенно сильный щелчок в своем затылке и одновременно... в висевшем на стене трехпрограммном приемнике. «Где вы спите?» — поинтересовался Леонид Андреевич. Она кивнула на кушетку.

— А другой комнаты нет?

— Есть, но я лягу здесь...

— Ложитесь! — Леонид Андреевич вытащил сложенную ширму и развернул ее у кушеточки, расправил пропылившиеся и пришившиеся шторки из серебристой фольги.

— Здесь рядом где-то радиостанция? — соображала Ольга, примериваясь к оснащенной экраном кушеточке. Щелчков, кажется, не было.

— Что-то в этом роде, видимо, есть... вам лучше знать, я — новичок.

— Такого еще никогда не было...! — пожаловалась ему Ольга.

— Тонковата у вас мембранка, а? трудновато приходится?

— Такого никогда не было... — как эхо повторила Ольга.

— Я имею ввиду, в жизни?

— А вам? — спросила она и устало подумала, что «мол, помог и иди»; но вслух почему-то предложила ему, очень вежливенько, присаживаться, да еще в «безопасное место», выходило, не иначе, как к ней под бок, на кушетку.

— Что тут у вас — бактериородопсин? и полимерные волокна... — Леонид Андреевич вытолкнул ногой картонную коробку из-под стола и разворошил содержимое, отдюнь не спеша воспользоваться ее столь любезным приглашением.

— Поставьте хотя бы на место агар-агар, так ведь и разбить можно! — она заметила у него в пальцах пробирку.

— Диссертация на выходе, не так ли? — спросил он вдруг, водворяя пробирку на место.

— Что вы! — удивилась она. — В самом начале, теперь еще и Цатлин пропал...

— А тема?

— ...Растения-проводники.

— Так широко? Их ведь множество.

— Да, есть... — уклонилась от прямого ответа Ольга.

Леонид Андреевич еще раз не уточнял, ушел, традиционно пожелав «спокойной ночи». Сделав несколько глотков холодного чая из толсто-фаянсовой белой лабораторной чашки, она почувствовала себя сносно и решила выбраться из-за ширмы; приковыляла к столу и стала придирчиво осматривать колбочки с пробами, составленными Димой. Почему-то ей захотелось все проверить после ухода «гостя».

Наугад, не выбирая сунула одну из пробирок под оптический глаз молекулярного микроскопа, и тут же блеснула характерная двойная спираль — дезоксирибонуклеиновая кислота... молекула ДНК. Трудно было ошибиться в свечении спектра, значит в пробирке находилась водяная копия, голограмма ДНК — основной компоненты наследственного аппарата человека...

Ольга лихорадочно просматривала уже покрытую пыльным налетом, принадлежавшую Цатлину полочку с периодикой и монографиями — Гурвич, Шангин-Березовский, Кнапп; все в прямой зависимости... И когда он только успел зайти так далеко не совсем по теме? Ольгу толкнуло к его столу; после двух оборотов маленького ключика, выдвинулся верхний, под крышкой ящичек — там лежала исписанная убористым диминым почерком стопка... под ней, в папке она нашла вариант, исполненный уже частично на машинке. Это были обработанные для статьи в научном журнале исследования, касавшиеся ЭВМ четвертого поколения и памяти молекул ДНК. Ольга не чувствовала неудобства от осмотра не принадлежавшего ей стола, только беспокойство и страх из-за внезапного исчезновения Димы. Она вспомнила его отлучки в мае, после которых он возвращался с обводкой вокруг глаз, истомленный лицом и телом... Возможно, все это как-то связано?

Дима был ее научным руководителем, молодым и очень перспективным, к тому же, не без роду и племени, имелась поддержка... Когда на биостанции они поселились вместе в этом домике, ее многие поздравляли и завидовали, считая их новой парочкой. Нравы в научной среде были довольно свободные, по-крайней мере, в их случае не несло разбитыми жизнями. Научные интересы или даже просто интересы насущного выживания порождали порой весьма причудливые семейно-гражданские напластования... Во всяком случае, здесь видали виды!

Но у Ольги с Димой не складывалось... Отношения деловые, в лучшие минуты — тепло-дружественные, но не более. Правда, иногда между ними возникало некоторое напряжение... Теперь, когда Дима столь непонятно исчез, она мучилась, не находя себе

места. Ее часто тянуло прилечь на узенькую белую кушеточку, на которой он спал прямо в лаборатории; она вызывала его образ, стараясь войти в ритм его мысли... У нее была рядом своя, с микро-окошечком комнатка, но она упрямо оставалась на ночь в лаборатории.

Распахнув дверь в свое полузабытое жилье, она с недоумением посмотрела на аккуратно застланную, нетронутую постель и вошла... В углу на столике, пылилась полуразбитая, списанная ЭВМ; она зачем-то нажала кнопку — внезапная вспышка, на экране расцвело детское личико! Нет, это не было личиком живого ребенка — светящийся контур, радужные очертания губ и глаз... Какая-то переблокировка, и изображение так же внезапно пропало. Ольга жала на все кнопки — машина не работала! Чувствуя безотчетный страх и даже непонятное ей самой отвращение, она вошла в лабораторию, плотно прикрыв дверь своей «девичьей». И вдруг увидела то же самое изображение в окне, прижатым, казалось, с обратной стороны к стеклу — такое же горькое и нежное было выражение детского личика в жидковато-жутковатых вздыбленных волосенках...

С испугу, она никак не могла понять, был ли то светящийся контур, как на экране, или живое существо? Она застыла на месте, боясь сделать лишний шаг в направлении окна. Сколько времени разглядывал ее «ребенок» она не знала, потом он тоже пропал...

Не знала она и где ей заночевать, но лаборатория по-прежнему притягивала, тем более, что и в комнатке ее присутствовало что-то не то... С опаской приблизилась она к окну — нужно было проверить, закрыто ли? потом, погасив свет, прилегла на димино место, защищенное от окна серебристым экраном.

Ночь вышла беспокойной... несколько раз она поднималась и смотрела на безопасном расстоянии в окно — свет фонаря освещал дорожку к озеру, угадывалась перспектива болот и обобществленных бескрайних полей соседнего совхоза.

Один раз она проснулась и долго лежала с открытыми глазами, вспомнив, как отмывала пробирки в озере, когда не работал водопровод. Застав ее случайно за этим занятием, Дима страшно разнервничался — во-первых, она опорожнила несколько еще нужных пробирок, во-вторых, заявил, что она преступно нарушает экологию. Она отвечала, что ничего такого /!/ в колбах не было, но Дима почему-то странно был сердит и заметно расстроен...

«Я выплеснула в озеро голограмму ДНК, — ужаснулась в темноте Ольга, — и теперь, этот «ребенок», он приходит из озера! нет, это было бы слишком, так просто роботов не получают...» Обессиленная домыслами один страннее другого, в том числе и о пропаже Димы, она, наконец, задремала.

Утром почувствовала себя свежей и полной сил, несмотря на то, что спала в общей сложности часа 3—4. Вчерашних щелчков в голове не было, «ребенок» казался даже не пригрезившимся

в сумерках, а просто привидевшимся во сне. Она позавтракала вместе со всеми в общей столовой. Собирались уже расходиться по рабочим местам, когда в раскрытых дверях возникла фигура милиционера — это был участковый из соседнего совхозного поселка. Он задержал всех сообщением, что в ожидании следователя, предпринял уже некоторые самостоятельные действия; как-то, опросил местных жителей и выяснил, будто в день исчезновения Цатлина видели в поселке на танцах, в компании еще с одним молодым человеком, тоже из «чужих».

По разным свидетельствам, все приметы сходились на Лаврове. Было страшно неловко выслушивать из уст официального лица сакраментальное описание далекой от эталона внешности. Ольга почему-то все улыбалась — судорожно, глуповато и растерянно... Потом участковый спросил, «не был ли кто из присутствующих на танцах вместе с пропавшим?» Все молчали. И тогда он обратился персонально к Лаврову — «не были ли вы...?» У того повело выпуклые белые щеки — дрогнули, наподобие желе: «Был...» — будто одними щеками выпихнул он.

— И молчал! — Валентина Сергеевна встала, сердито обдернув гороховый жакет.

— М... да... — промычал Макаевский, — Историйка!

Все стали расходиться, пошла и Ольга, подавляя гадкую дрожь в коленках, почти без сил, Лаврову не досталось даже ее негодующего взгляда. Подходя к своему домику, она заметила в окошке за лабораторным столом — чья-то голова, в затылок, «Дима!» Все в ней так и отозвалось... Но это был Леонид Андреевич, преспокойно перебиравший чужие пробирки на столе.

— Быстро вы освоились!

— Было незаперто... я пришел поинтересоваться, как вы после вчерашнего...?

— Поставьте на место пробирку! /Кажется, это была та самая.../ Кстати, почему вас не было на завтраке?

— Проспал, совсем проспал... все-таки после дороги и режим не тот, еще не акклиматизировался.

— У нас сенсация! — мрачно изрекла Ольга. — Цатлин и Лавров посещали, оказывается, вдвоем местные танцы.

— Цатлин? Это тот самый, о котором вчера... то есть, он же с вами работал?

— Да. А Лавров, тот самый, с которым мы вас вчера встречали.

— Откуда такие подробности из интимной жизни сотрудников?

— Из милиции, откуда же еще! — хмыкнула Ольга.

— Не хотите же вы сказать, что он отбывает десять суток за хулиганство или еще что-нибудь в подобном роде?

— Нет, к сожалению.

— Почему, к сожалению?

— Потому, что тогда бы он, по-крайней мере, нашелся!

— Пожалуй, дойду до столовой, — Леонид Андреевич поднялся, — возможно, там что-то и осталось от завтрака...

Как только он ушел, Ольга, подгоняемая невнятной тревогой, достала из стола рукопись Димы, под села к машинке. «Допечатаю и отвезу в редакцию, невзирая ни на какие танцы», — самоотверженно решила она. Весь день простучав на машинке, в смысл почти не вникая, к вечеру она отменила свой обычный маршрут на озеро и явилась к Сапунову. У завлаба было не пусто — коллеги горячо обсуждали новость, преподнесенную Лавровым. Ольга имела несчастье узнать, что Цатлин бросил Лаврова, дабы прогуляться в компании с какой-то местной нимфой. Ощутила она при этом не ревность, а какую-то зияющую пустоту...

— Мне надо в Москву, — независимо объявила еще с порога.

— А что так? — захотел вникнуть Сапунов.

— Ничего, все по-очереди отъезжают, и мне тоже надо, соскучилась...

— А судьба коллеги вас, стало быть, не интересует?

— Я же вернусь, три дня, максимум — неделя...

— Когда решили ехать?

— Завтра, с утра.

— Хорошо, только раз это все равно по дороге, загляните в поселке к участковому.

— В милицию, в отделение?! — ужаснулась она. — Зачем?

— Так надо, просили, если кто будет отлучаться, тем более вы вместе... работали. — Пауза была ощутимой.

Слегка ошеломленная, закрывала она за собой дверь; на спину успели ляпнуть — то «бедняжка», не то «гражданская жена»... В темном коридорчике она наткнулась на два застывшие у подоконника изваяния — это были лаборантка Люда и Серж, приклонивший голову на ее крепкое, дружественное плечо.

Ольга вернулась к себе и сидела, затихнув, одна... Расслышав вкрадчивое поскребывание в дверь, она приготовила было гневную тираду для Леонида Андреевича, на его назойливость — но это оказался Лавров. Он, заикаясь и запинаясь, извиняющимся тоном пытался объяснить с ней, посылая воздушные стрелы из редьки, лука и явно не деликатного спиртового сырья. Она милостливо подставила ему облезшую табуретку. Совсем простецки причесав пятерней свои полуакадемические бачки, он сел, слегка прихлопнув мягкими частями, и понес нечто мало разборчивое. Ольга не слышала... она только смотрела, не отрываясь, на его почему-то очень красные, возможно от действия спиртного, вспухшие губы — в стиле «вампир». Потом стала разбирать отдельные слова — что-то о «совместной» с Цатлиным работе...

— Надо же, а я думала, что совместная работа шла у него со мной! — не удержалась Ольга.

— С тобой?! Да он просто «водил» тебя, знаешь, как овцу... Может ты думаешь, что нравилась ему? — абсурд!

— Так вот оно что... — стараясь казаться спокойной, соглашательским тоном выдавила из себя она.

— Да, ты уж прости, я для твоей же пользы; а с ним все — дом с трубой!

— Ты знаешь, что с ним?

— Нет! — рывкнул он, заметно трезвея. — Потом направился к столу с пробирками и выкинул ногой из-под стола картонную коробку. — Знаешь, что это такое? Это полимерные волокна, кстати, с моей! структурой, я поставлял...

— Что же это за таинственные исследования? Не иначе, в невидимом и неслышимом сверхнизкочастотном диапазоне... — съязвила Ольга.

— Представь себе, в Париже нас бы наградили за них, не иначе, Орденом Почетного легиона!

— Надеюсь, вместе с французской розеткой? — не унималась она.

— Шутки в сторону! — Борис подошел к столу Димы и вдруг резко дернул выдвижной ящик из-под крышки... но он был предосторожно заперт. — Думаешь сама в этом разобраться? и повторить и обосновать?

— В чем именно? В каком направлении хотя бы искать, что за работа? Подскажи.

— Где ключ? — взревел Борис и стал разрывать открытые поляки...

— Я ничего не знаю, это же не мой стол, ключ у Димы, наверное... — ключик висел сбоку над общим лабораторным столом с пробирками, но Борис сейчас мало что различал. — Знаешь что, зайди завтра, как только протрезвеешь... а сейчас я устала от тебя и лягу немедленно спать!

— И ты отдашь мне... записки?

— Вскрывай стол и бери, — как можно безразличнее говорила Ольга, — с меня довольно и моей темы... и так голова кругом...

Борис, не зная как поступить, стоял в дверях, широко расставив толстые ноги-бульдоги.

— Давай, я сейчас вскрою, а? — ластясь собачкой, попросил он.

— Ты еще замок ломаешь... лучше потом...

«Только бы ушел!» — думала напуганная его агрессивностью Ольга, но внешне выглядела спокойно. Чтобы ускорить его уход, она подошла и сунула ему свою руку — на прощанье. Но тут же он затеял пьяную «рукомедию» — чувствительно приобнял ее, растроганно чмокнул вампирами в щеку, скользнул было пониже, ко рту...

— Ах ты, губбон, этакий! — отстранившись, лаского пожурила его Ольга.

— Будешь долго выбирать, останешься ни с чем... — с намерением шепнул на прощание на ушко.

«Все мы когда-нибудь останемся ни с чем...» — пробурчала она, быстренько запирая за ним дверь. Потом стала собираться в дорогу — упаковала стрательно рукопись, разложив по экземплярам после машинки. Утром ей повезло, как раз прибыл поселковый газик с почтой. Она еще до завтрака, в утренних осенних

потемках забралась в него, облюбовав тыловое местечко за брезентом. Но уже когда взревел застоявшийся мотор, последним уходящим кадром мелькнуло в окошечке мелко и мутно — 3×4, перекошенное лицо Лаврова. При отходе, газик, как нарочно, развернулся к нему под прямым углом, предоставив на свободное обозрение свои укромистые местечки. Кадр отодвинулся — Лавров стоял теперь в полный рост у куста зловеще-фиолетового репейника; он размахивал руками и что-то кричал, и виден был уже отчетливо, из-за подсветки от фар... Шофер было притормозил, но Ольга быстро сказала: «Не останавливайтесь, прошу вас, скорей!» И они умчались...

Газик тарыхтел по дороге вдоль болотистых озер, в стороне то синел, то чернел готический жесткий ельник. Шофер в профиль чему-то улыбался, представлял, наверное, себе на уме, ее возможный роман с Лавровым. Попадая на озера, свет фар обнажал подводные травяные луга, шнырял в черные провалы леса, ронявшего листья... Снова зачем-то всплыло в памяти горькое и нежное выражение детского личика в жидковато-жутковатых вздыбившихся волосенках... Ольга упрямо прогнала его от себя.

В поселке, предупрежденный шофер затормозил газик перед двухэтажным зданием с толстыми колоннами, неизвестного в искусстве ордера, покрытыми жирными неровными пластами зеленой масляной краски. «Отделение там, сбоку, — махнул он рукой и прихватив пустую канистру отправился к бочке с квасом, неопределенно пообещав, — если недолго провозишься, заброшу в город к вокзалу»... У одной из колонн раскорякой застыла цыганка — страшная, усатая, бритая. Ольга, старательно обходя ее, свернула за угол; толкнула дверь в холодный неотопливаемый коридор... Первая от входа комната была открыта, кто-то в форме разъяснил, в какой ей кабинет, проводил к лестнице на второй этаж. Она поднялась, постучалась и вошла, узнавая облик участкового и приготавливая себя к новым уколам и щипкам — лишь бы не удар!

Вошла и отступила назад в коридор, у участкового уже была посетительница — внушительный скуласто-щекастый объем и мирно /но только до поры до времени!/ зеленеющие глаза.

— Куда мне ехать? Парень и здесь найдется... — лениво говорила она, старательно разглаживая на коленях юбку-варенку.

— А работать?

— Ну и что, и работать... есть же у нас... — запнулась и с усмешечкой. — Пластмассовый завод!

— Подождите немного, мы скоро закончим, — сказал милиционер Ольге.

Ольга опустила в коридорчике на стул у самой двери. Потянулись продолговатые минутки... Из комнаты доносились обрывки фраз и отдельные слова.

— ...голубой ангар... — услышала она.

— Краска голубая что ли?

- Нет, он стеклянный.
- ... стекло голубое?
- Обычное стекло, он сам по себе голубой...
- Так уж прямо и голубой? — партия милиционера.
- Голубой, — подтвердила посетительница.
- Ну-к, что ж, так и запишем...

Наконец, у них закончилось, и посетительница вышла — среднего роста, коренастая, выставляя грудь /было что выставлять/ — в броской кооперативной майке. И затеистый же был у нее наряд! Маечка — на одной груди серп, на другой молот; и обористая юбка из варенки — внизу плинтус от постельного подзора.

— Войдите! — раздалось из кабинета, и Ольга вошла.

Узнав, что ее к нему «прислали», участковый возмутился — «... вот перестраховщики!» Впрочем, задал несколько тривиальнейших вопросов и выслушал внимательно. Очень скоро Ольга распростилась и с ним, и с отделением. Шофер, конечно, уехал. Кое-как, на перекладных добралась она до станции, неожиданно подгадав прямо к поезду. Еле успела купить билет! Совсем запыхавшись, опустилась она на сиденье и начиная отдыхать постепенно прозревала, что встреча в милиции с местной «модницей» имеет прямое отношение к исчезновению Цатлина... — это с ней он отправился на прогулку, оставив Лаврова! Ну и вкус! Припомнился и загадочный «голубой ангар»... Предчувствия хлынули — недобрые...

В дороге она к тому же все решала, где в Москве остановится. Домой не хотелось — у нее не было той самой своей однокомнатной «сортирки», в которую совсем не спешил возвращаться Лавров. После того, как поезд выбросил ее на столичном перроне, она из автомата стала названивать приятельнице — занято, занято... наконец, долгий гудок и знакомый родственный голос:

- Алле?
- Привет.
- Это кто?
- Я.
- Ой, Оль, ты что ли? Ты что, по-междугороднему?
- Да в Москве я, приехала дня на два.

— Слушай, давай сюда, давно не виделись, хоть развлечешь меня, а то голова опухла от технических переводов!

— Да я еще с сумкой, на трех вокзалах, правда, домой и неохота... сама знаешь.

— Вот и жми! Ну, жду, — повесила трубку.

Был совсем конец октября, и уже подмораживало — до легкого инея; появлялись и редкие сухие белые крупинки. Отстояв на ветру в очереди, Ольга уселась в такси — отсюда было сравнительно недалеко до Медведкова, где обитала Лена. Попутно, она имела возможность наблюдать полустершиеся в памяти контрастные лики столицы — дамы деми-монд министерств, в спортивного кроя стеганных импортных пальто и с боянками на головах; у «Космоса» промелькнули две валютные проститутки, обе в оди-

наковых красных кардинальских шапках. В то же время, она стыдливо оглядела собственное совиндпошивовское пальтецо, ощутив себя внезапно тоже одним из ликов... вообразила изумленное лицо Лены: «Как, опять в этом?»

Она вышла из такси у одного из новых домов улучшенной планировки и даже с элементиками архитектурных излишеств, в виде скругленных балкончиков, свободных площадочек и арочек. Но уже в подъезде ее встречало монументальное московское хамство — присмотревшись к далеко не оригинального содержания, удручающе однообразным надписям на стенах; она заметила, что некоторые из них выполнены красной церковной свечкой... На месте разбитого плафона и вырванных с мясом трубок дневного света, качалась на проводке нелепо приделанная обычная электрическая лампочка. Выйдя из лифта с исполосованной ножом пленкой, она тронула пальцем обугленную /с чего бы это?/ кнопку звонка. За матовым ребристым стеклом с трещинами, она увидела выскочившую из своей ячейки в общий коридор Лену. Когда дверь открылась, Ольга сразу уловила тонкий французский аромат, несмотря на корпение над нелюбимым переводом. Когда-то Лена мечтала о филологическом образовании, но на экзамене нечаянно спутала Федина с Фадеевым; после чего благополучно окончила технический вуз и работала в ОНТИ. С Ольгой они были знакомы со школы.

— Хорошо, что ты днем, поболтаем вволю, пока Вадим с работы не пришел.

— Какой Вадим? — оторопела Ольга, рассчитывавшая на абсолютное внимание со стороны подруги и непринужденный отдых.

— Муж. Да, ты же ничего не знаешь! Сидишь там на своей луже, флиртануть там хоть есть с кем? Кстати, хочешь познакомлю? У приятеля Вадима жена ушла, только развелся — надо брать, пока тепленький!

— Пусть остынет. — Пожелала ему Ольга, призвав на помощь весь свой патетически-аскетичный опыт.

— Твои устои перейдут в застой... — предсказала ей тут же Лена.

Широковещательное за последнее время «застой», в применении к ней самой, Ольге особенно не понравилось... Она уже поняла, что придется скоро уехать, постоянно пикироваться сил не было.

— Ты одна? А мама?

— Родители теперь у Вадима, в его однокомнатной, — она сняла с полочки флакон, зажав пальцем горлышко, поводила у нее перед носом испускающей дивные молекулы пробочкой. — Ну, как?

— Не знаю, у меня насморк... — нарочисто сказала Ольга.

— Запасной игрок подарил, не знаю, где и взял, теперь не достанешь французские, — поделилась Лена, ткнув пробочкой в горлышко подружкиного свитера.

— Запасной игрок? как это, в теннисе что ли?

— Запасной игрок — это любовник! Ты я вижу совсем одичала. Слушай, когда ты, наконец, расстанешься с этим своим пальто?

— Не знаю, мне в нем хорошо — привыкла, еще ведь при маме шила...

— Ну и сшила! В любом магазине, безо всяких хлопот такое купить можно. И когда ты разменяешь квартиру с отчимом? — вела свою партию Лена. — Сидишь на своей луже, в каких-то диких, невообразимых условиях, а он процветает в самом центре /квартира была на Шаболовке у метро/, смотри, еще женится! А может быть ты... влюблена в этого своего руководителя, в Диму?!

Лена впервые за всю встречу посмотрела ей прямо в глаза — открыто, в упор.

— Может быть... я еще не думала так... — прошептала, не готовая к столь стремительному обороту Ольга.

— У вас что, до сих пор ничего?

Ольга только презрительно фыркнула. Лена выразила глазами явное сочувствие и пригласила перейти на кухню. Надо отдать ей должное, она была хлебосольной хозяйкой. Но после обеда с ананасным компотом и кофе, Ольга засуетилась, стала прощаться.

— Ты что же, даже не хочешь посмотреть на Вадима? — обидеть подруга.

— Очень хочу, но в другой раз, я всего на пару деньков — есть дела... я же ничего не знала, у меня еще свадебный подарок не готов, — неловко оправдывалась Ольга.

Она покидала дом подружки примерно с тем же сложным букетом ощущений, который выносила когда-то, казалось, что очень давно... из дома матери — разочарование, испытанное от непонимания, одиночество и вместе с тем, удовольствие от инерции домашнего тепла. Отступила на время сатанистая бледность и обводка, у переносья и под глазами — щеки мирно зарозовели. Деньги были, но такси не поймать; она прошлась пешком, потом спустилась в метро на Бабушкинской, успев занять место в вагоне — теперь можно и подремать, без пересадок, по прямой... «Голубиный психологизм...» — подобрала она в тряском вагоне определение к маме и Лене, вспомнив назойливые уличные стайки. Потом в памяти всплыли старенькие стишки, сочиненные в бытность регулярного пользования московским метрополитеном:

*«Я думаю в толпе, в час пик
московского метро —
зачем? зачем? зачем? зачем?
за что? за что? за что? —*

повторяла она про себя в такт колес. А в конце пути, приоткрыв глаза и оглядевшись по сторонам, нашла новую рифму — «люди-верблюди». Пора было выходить...

На Шаболовке у метро тоже свободно разгуливали голуби, на одного из них — черного и смердящего, как ворон, она едва не наступила. В ларьках были широко представлены кооператив-

ные шмотки московских бойких фирм стиля «Юран-Дюран». Взгляды на цены, дамы советского деми-монд трагически открывали рты. Какая-то старшеклассница перешла ей дорогу, призывно тряся разношенным крестцом, затынутым в варенку. Потом остановил старик, припустив ей под нос едким дымком спросил: «Дочка, где здесь школа?» Она показала.

Дверь она не стала отпирать своим ключом, нажала кнопку звонка. Отчим открыл с трагическим, по-обыкновенно, выражением картофельного лица.

— А тебе только что молодой человек звонил! — объявил он ей прямо с порога.

— Кто бы это? — изумилась Ольга и пошла в свою комнату.

— Есть-то хочешь? — спросил отчим, ткнувшись носом в ее туфли, по-привычке изучал набойки; от трудился в ремонтной мастерской.

— Потом, не сразу... — Ольга вытянулась на своей кушеточке, в отличие от той, что на станции, эта была мягкой. Она вспомнила, как возненавидела отчима, когда он приляпал черные резиновые набойки, и не только на каблук, но и к мыску ее новеньких модельных туфель — для прочности! А ей в тот вечер была жизненно важна красота... Оставь туфли в покое, неужели тебя, кроме набоек, ничего в жизни не интересует?!

— Тебя интересует! Только на кушетке манежить...

Ольга лежала, закрыв глаза и тихо жалела себя, она представляла себя маленькой девочкой, убегающей из дому босой... Отчим у себя включил телевизор, доносилось также и его ворчание — он привык комментировать от себя события на экране.

— Ты что, в общественные редакторы записался?! — крикнула, /чтобы расслышал/ ему Ольга по дороге к удобствам.

В ванной она разделась и просверкнув в зеркале белыми обмылками груди забралась под душ. Замирая под теплым дождем, она думала о том, что до сих пор не выбросила изуродованные отчимом туфельки — привыкла носить их на станции; они напоминали о доме, в который она всегда боялась возвращаться и не любила с тех пор, как там поселился отчим. Носилось и пальтецо совиндпошива, из-за которого было столько ссор с матерью — неважная, но память... А может быть она продолжала носить его в отместку жизни, проходя в нем, как призрак — девушка из времен застоя /Лена недаром сегодня отметила!/. Ей было горьковато и жаль себя и еще острее захотелось сбежать из дому куда глаза глядят, бродить по-белу свету, раздетой и босой...

Когда она вытиралась полотенцем, постучал отчим.

— Тебя к телефону, мужской голос, подойдешь или как? что отвечать?

— Скажи, сейчас подойду.

Отчим отошел к телефону, потом опять вернулся:

— Ты не торопись, еще лоб расшибешь, я сказал, что ты в ванной...

— Интересно, что ты скажешь, когда я буду в туалете? — подумала Ольга.

Когда вышла и взяла трубку, ее внезапно с наглой интимной интонацией поприветствовал полузабытый, отправленный на задворки памяти баритон:

— С легким паром!

— Кто это? — хотя и узнала, сочла правильным поинтересоваться Ольга.

— Я...

— Зачем? Принц ты мой рейнвейнский?

— Мне показалось, я должен...

— Приятный должок! — заметила Ольга. — Значит, и перед этим ты звонил?

— Нет, в первый раз... ты этим разочарована?

— Да нет, заинтригована, кто же мне до тебя звонил?

— Увидеться, стало быть, не желаешь?

— Ты что, хорошо покушал? Женился, так отстань, наконец, от меня!

— Глупая ты! При чем тут жена? Я из жены культа не делаю.

— Свинья ты узкомордая! — согрubiла ему неожиданно Ольга.

— Прощай, Чаула! — и короткие гудки...

Ольга ушла к себе и снова легла на кушетку, ей казалось, что из всех домашних щелей тянутся к ней призраки... Она смотрела на стены, оклеенные дешевыми отечественными обоями, с трафаретными линиями, поблескивающими кладбищенским серебрином... Обои были все те же, только лилии слегка поистерлись... Чтобы отвлечься, пошла на кухню, порылась в холодильнике, согрела чай.

Отчим общался по телефону со своей родней, потом пришел на кухню и объявил Ольге:

— Тетя Фима звонила, муж у нее сегодня приезжает...

— А, святое дело! — с похвалой отозвалась Ольга. — Где это он болтался? Я думала, он и из дому-то не выходит.

— У сестры гостил в Барнуле, Фимка вот просит теперь за нее ночь отдежурить.

— Где это?

— Да в министерстве, ни то в институте — ночной директоршей она устроилась, а у меня бок...

— И не ходи.

Но тут снова запел телефон. «Вот настырная!» откомментировала Ольга. Но отчим сказал: «Это тебя, снова мужской...» Каково же было ее удивление, когда она узнала голос... Лавров! Он опять буянил.

— Потише, ты все же под следствием! — растерянно попросила Ольга.

— Не больше, чем все остальные... где бумаги?

— Наверное там, в столе... поищи...

— Поискал уже — нет ничего! Они у тебя...

— Ты с ума сошел!

— Сейчас я приеду к тебе домой, и ты все отдашь.

Ты что, в Москве?! — еще более растеряно спросила Ольга, с тоскливой мутой созерцая через распахнутую дверь кладбищенские лилии в своей комнатке. — Можешь ехать, у меня ничего нет.

Она положила трубку.

— Какое следствие? — схватился отчим за первое неосторожно оброненное ею слово. — Случилось что?

— Уж случилось... Теперь слушай внимательно: во-первых, я дежурю за Фиму, во-вторых, ты никого не выпускаешь в дом и в-третьих, не знаешь, где я...

— Как же это?

Ну скажи, назад на станцию уехала, — через несколько минут у нее был адрес дежурства Фимы; она подхватила сумку и исчезла, с глаз долой от изумленного отчима.

В искомом учреждении ее с нетерпением встречала на вахте дама пик в грязно-белом лабораторном халате, к ее толстой ноге забько жался серый пушистый, с невинной детской мордочкой котенок.

— Вы за Трунову? Здесь уж все брошено, расформировали, и не работает никто. Один мусор и охраняем.

Я что, одна в этой махине заночую? — чему-то неясному испугалась вдруг Ольга.

— А что здесь... утром сменщица придет. Собачки есть, если что, залают...

Она обучила Ольгу, как надо запираяться, показала телефоны под стеклом — тоже, «если что»... Потом вышли во двор, знакомиться с псами — залаявшие было Тишка и Мишка были едино-временно убаготворены казенной ненатурально-белой сосиской из рук Ольги. Все же казалось, страшновато, но отступать вроде как-то неловко...

Проводив даму пик, Ольга поспешно укрылась от собачек в здании. Она познакомилась с туалетом, набрала воды в чайник /водопровод пока еще действовал/; где-то невдалеке бродил, изредка мяукая, одинокий котенок. Она решила прогуляться по близлежащим комнатам: «Пушок, Пушок!» — позвала котенка. Пушок не отзывался, наверное, надо было просто сказать ему: «Кис-кис!» У многих столов были выдвинуты ящики, а сверху на них лежали папки и подшивки бумаг. Ухмыльнулся ей в глаза черный зев «выпотрошенного» сейфа. Котенка нигде не было, она решила вернуться на вахту.

На завтра у нее был намечен культпоход в редакцию научного журнала. Она достала димин оригинал и свои копии на машинке, стала старательно вникать, читать; попутно выправляла ошибки — нашла несколько пропусков /слишком спешила/. Перетащила из соседней комнаты тяжелую машинку и впечатывала отдельные куски через 1 интервал, стараясь уместить на том же листе, чтобы не пришлось переделывать все. Устала и вспомнила о главном — подписи! Необходимо было удостоверить авторство Димы — на этот случай оказалась припасенная бумажка с образ-

цом. Она немного потренировалась, а потом повторила его росчерк на первом экземпляре легко и свободно. Дими́на работа — Лаврову не достанется! Она не слишком улавливала смысл, за слишком детальным разбором формул и опытов, пряталось что-то главное, исходный результат... Она только понимала, что темка — пик! Ляжет краеугольным камешком в пирамиду четвертого поколения ЭВМ с биологической памятью... «Но что же случилось с Димой?! — лихорадочно соображала она. — Неужели его дерзновенный интеллект, его умная душа сломлены по-прихоти каких-то местных Бандинелли?»

Внезапно донесся откуда-то протяжный отчаянный, совсем не детский мяв Пушка. Она быстрым шагом пробежала знакомую анфиладу комнат и узрела задранный, словно «на прутике» серый хвостик — не то удирал от кого-то, не то кого-то преследовал... Ольга позвала его, на этот раз нежным: «Кис-кис!» — но хвостик свернул в боковую анфиладу, которая выходила на ведущую в подвал лестницу, закрученную крутым винтом. Она вздрогнула, заметив, как что-то черное взметнулось из-под лап у котенка, одновременно последовал самый воинственный мяв, и Пушок спикировал в винтовой пролет. Она приблизилась к лестнице и со страхом глянула вниз — кис-кис приземлился на груды пожелтевших бумаг, предназначенных сырости и тлению, упрямо сжимая в когтях не то крысу, не то мышь, нечто омерзительное /последнее время она работала с растениями и успела отвыкнуть от подобной живности/. Ольга настолько забылась, что неожиданно для себя разжала пальцы и с новым ужасом смотрела, как улетают в тот же провал листочки оригинального текста, исписанные убористым диминым почерком — зачем-то она прихватила оригинал с собой... Она застыла в оцепенении, не веря своим глазам... — но свершилось! Очнувшись, она сбежала по ступенькам вниз и уперлась в глухую — от пола до потолка, частую металлическую решетку; из всех сил дернула замок, но не поддавался... У нее так исказилось лицо, что Пушок даже вынужден был принять воинственную позу — он выгнул спинку и зашипел на нее, решив очевидно, что она претендует на его законную добычу. Пушок выгнул спинку, а она свою — согнула, опустилась, слабая на колени, держась за прутья злосчастной решетки...

Назад она еле выбралась — лестница оказалась слишком крута, кованные железом ступени непомерно высоки. У нее кружилась голова и замирало сердце, она боялась сорваться и упасть вниз, чтобы застрять там навеки. Перед подъемом она внимательно изучала замок, надеясь подобрать к нему ключ, но сил вернуться у нее не было...

На вахте было все по-прежнему — как будто ничего и не произошло — мирно разложены на столе три разборчивых, перепечатанных на машинке экземпляра... Подавленная, опустилась она на стул; вскоре вернулся и котенок, легко пролезавший между прутьями решетки. Он подошел к ней и по-свойски потерся о ее ногу, точно так, как в начале с дамой пик, когда Ольга только

сюда вошла. Круг замкнулся... но она все же осмотрела доску под стеклом, хранившиеся там ключи — были только от комнат, ничего подходящего к тому замку... Всю ночь она проплакала и прогоревала, и еще ее напугал телефонный звонок. Можно было и не снимать среди ночи трубку, но она машинально сняла — на ее вполне земное «алле?» никто не отзывался... тишина, разверстый, зловещий космос...

Поутру явился сменщик и придирчиво осмотрел Ольгу; глаза у него, будто скрепки канцелярские, а рот — вылитый дырокол. Она было дернулась спросить у него про подвал, но ею овладела необоримая апатия, да он бы и не сказал, в лучшем случае, стал бы только путать — все это становилось ясно сразу, из его внешности. «Потом, у Фимы спрошу», — подумала Ольга.

Когда она вышла, от здания вдруг отделились две фигуры в костюмах; перед глазами у нее всплыло раскрытое удостоверение.

— В чем дело? — спросила Ольга.

— У вас находится чужая рукопись.

— Возьмите. — Она достала из сумки папку с тремя «благополучными» экземплярами на машинке.

— Вы что же, хотели присвоить чужой труд?

— Мне это и в голову не приходило! — она показала на последней странице подпись Цатлина. — Кстати, что-нибудь выяснилось? Я хотела сегодня взять эту рукопись от его имени в редакцию /про оригинал сразу решила почему-то — ни слова/.

— Вы можете отвезти ее сейчас автору, — возвращая.

— Он уже на станции?

— Нет, он больнице, пожалуйста, — с жестом, приглашающим к машине.

— Надеюсь, я не арестована?

— Ну, что вы!

Довольно скоро они уже въезжали за ворота какой-то больницы. Летом здесь, наверно, могло быть и радостно и зелено, но сейчас дворик грустил, было как-то «лилово» среди голых почти ветвей, разросшихся здесь деревьев. Когда вошли в холл, она сразу заметила развалившегося в кресле Лаврова. Ей тоже предложили подождать, и она опустилась, тихо грустя, с ним рядом /еще одно кресло было напротив, что выходило гораздо неудобнее/. Оба сидели, насупившись, избегая смотреть друг на друга. Каково же было изумление Ольги, когда она увидела выходящего к ним навстречу — на этот раз, не от озера, а по коридору — Леонида Андреевича. Он подсел к ним, передвинув стоящее напротив кресло.

— А вы здесь зачем? — поинтересовалась на всякий случай Ольга.

— По долгу службы... рукопись при вас?

— Вот она, — Ольга вынула папку.

— Сейчас вам выдадут белый халат, и вы отнесете ее своему коллеге. — Все это тоном приказа.

— О-о! — простонала она. — А что это вы вдруг рассекретились? Вдруг опять понадобится внедриться в какой-нибудь научный коллектив?

— После нашего общего «Дела» я досрочно выхожу на пенсию...

— С чего бы это?

— Скоро узнаете...

Выбежала откуда-то сбоку взмыленная кастелянша и позвала: «Кому там халат?!» «Принарядившись», Ольга на крыльях любви летела за кастеляншей по коридору в белом, чуть не до пят халате, ощущая себя, едва не невестой — нет, ничего плохого не могло случиться, плохое должно было бы отразиться на ее настроении...

И в самом деле, все казалось спокойным — кремовые шторы на окнах, и Дима, улыбающийся, хотя и несколько вяло, целый и невредимый! сидит с книжкой в чистой постели в отдельной палате.

— Что ты там намудрила? — спросил он, как только закрылась дверь, и сделал строгое лицо.

— А, ерунда! Сражалась с Лавровым из-за твоего труда.

— С тобой? покажи.

— Вот. — Ольга протянула бывшие наготове три экземпляра.

— Это ж не то?

— То, то... я перепечатала все на машинке, готовила для журнала.

— Как же ты узнала, как нашла?

— Случайно.

— Да... но здесь что-то не то — ошибка, и здесь... так быть не могло! — он внимательно изучал материал.

— А как надо? — с замиранием сердца спросила Ольга.

— Не помню сейчас, не знаю... давай мой текст!

— Видишь ли, я его... потеряла.

— Что за чушь? где?

— Не знаю, в дороге... прости...

— Нет, этого не может быть!

— Ты успокойся, может, может...

— Да ты хоть поняла, что потеряла?

— Честно говоря, не совсем.

— Я повторил в голограмме генетический код, я вызвал лазерную ультравспышку биополя молекулы — возбудил искусственно ее память...

— Ты, ты хочешь сказать, что он был живой?

— Да! Ты — видела! То есть нет, не живой — это вспышка, лазерный контур...

— Значит, он был... — я думала, мне привиделось в сумерках... Но почему два раза, там на разбитой ЭВМ и в окне?

— Ерунда! Волновой эффект, что-то с погодой... Я вспомню, я все повторяю... потом, видишь ли, я — «помазался».

— Ерунда, — повторила следом за ним Ольга, думая, что речь идет, максимум, о чьем-то сломанном в стычке ребре; ты ведь защищался...

— Не то, я взял дозу... подожди — потом съешь! — он стал быстро черкать с обратной стороны запечатанного ею листа.

Потом он дал ей листок, и она прочитала: «Мы с Борисом /о той ни слова!/ гоняли на велосипедах, мы заехали очень далеко, потеряли дорогу и заблудились, мы оказались в каком-то пустынном поле — давно уже не было никаких строений, никакого жилья, и вдруг мы увидели... почти призрак. Внезапно мы ощутили безотчетный ужас; я еще держался, а Борис /?/ ринулся назад, не ориентируясь, не выбирая пути — лишь бы удрать! Умом я не мог постичь его поведения, хотя сам держался с трудом, мне казалось, что у меня разорвется сердце, но я продолжал крутить вперед; я видел вдали голубой волшебный замок феи Фата Морганы и думал, что это не опасно, что это волновой мираж. Честно говоря, мы и отправились туда, потому, что знали, что о нем ходят легенды в здешних местах...

Но это был не мираж и не замок — это был Голубой ангар, охраняемый инфразвуком в диапазоне с частотой почти 7 Гц. Я не знаю как, но доколесил до него, никому это не удавалось, может быть на время был ослаблен инфразвук или не было никого за радаром... Я потерял создание и упал, потом меня подобрал кто-то из obsługi. Меня привели в чувство и лечили; но я долго пролежал на шахте, в которой, как я потом понял, находясь на территории, пытались замерить распад протона...»

— Вздор! Ничего не случилось — протон еще никому не удалось расколоть, значит, и радиации не было, — написала ему Ольга на листке.

Что-то там все-таки было... мюоны какие-нибудь... — вслух сказал Дима.

— «Все-таки», зачем вас туда понесло, не понимаю?

— Ну мы с... /запнулся/ Борисом хотели там немного пошалить...

— Как это?

— Допустим, мы хотели покорить эту голубую высоту и... ну, оставить там свои автографы...

— В том числе!

— А? Ну, да... — погруженный в свои воспоминания он, неожиданно, ласково потрепал ее по коленке, похоже было, что в рассеянности...

— Я-то тут при чем? — брыкнула она ножкой.

— Ты? Ты мне помогла.

— ?

— Когда разгорелся сыр-бор из-за моей работы, меня перевели сюда, на всякий случай, — он усмехнулся и подмигнул ей, — а здесь, ты знаешь, хорошо лечат!

— Так ты здесь недавно?

— Со вчерашнего дня.

— Интересно, какие ты теперь будешь оставлять автографы и кому?..

— Тебя и вправду интересует? — на этот раз он повторил этюд с ее коленкой более осознанно.

— Странно на тебя радиация действует... — прокомментировала Ольга.

И тут стало происходить нечто совсем непонятное; он взял ее за руку и понянул к себе — она и не заметила, как уже полулежала с ним на постели, утопая головой в подушках.

— Могут войти!

— Сначала постучат, здесь интеллигентная обслуга.

— У тебя было столько времени и столько возможностей такого рода... странно, что ты решился их использовать только теперь...

— Экстремальная ситуация! — вздохнул обреченно Дима.

— Ты что, без пижамы?! — неприлично вдруг взвизгнула Ольга среди объятий и поцелуев; кто-то сразу же стукнул пару раз в стенку, и она продолжила потише. — Так и принимал меня с самого начала?

— Только в верхней пижаме... — рисуясь, небрежно подтвердил Дима.

— Как ты сейчас похож на себя! — пролепетала ошарашенная Ольга.

.

Потом Дима сказал ей:

— Я теперь безопасный, даже если поженимся, детей все равно не будет.

— А может быть...

— Разве только такие, которых лучше вовсе не иметь... тем более, у нас уже есть... ты помнишь того — в окне? — он уже возвращался к работе.

— Д-да... — протянула Ольга. — Но он «пропал»...

— Это ничего, я все повторю. Когда-нибудь рожать детей естественным путем станет полным анахронизмом! — диктаторским тенорком провещал неожиданно он. — Ты и не представляешь, как это ужасно... для женщины.

— Тебе надо отдохнуть, — ласково уклонилась она, вставая и выправляя подушки. Почему-то ей все не хотелось говорить, что его рукопись валяется преспокойно в подвале одного никому не нужного расформированного учреждения времен застоя... Она никому не стала бы говорить об этом!

— Долго вы там... задержались, он что, вас ругал? — справилась кастелянша, когда Ольга сдавала ей халат.

— Нет, напротив! — с вызовом сказала Ольга.

— А-аа понимаю. Чтож, подумайте, он все-таки из такой интеллигентной семьи...

Ольга спешила по коридору, отирая зеленые кровь и слезы с повзрослевшего в несколько секунд лица. Выход был свободен — только снаружи у дверей преспокойно дымил себе Лавров.

— Эх ты, химик-эксцентрик — выплеснула ему Ольга.

— Да не убивайся ты так! — самодовольно хмыкнув, он попридержал ее рукав — Цатлин этой своей /выпятил грудь/ ... в курятнике все стены модернистскими полосами расписал, для повышения яйценоскости...

— Когда же он успел? — всхлипнула Ольга.

— А помнишь тогда, еще в мае...

— Так это после его картинок у кур саркома пошла?! — сказала она, дернув рукавом, спеша дальше...

— Зачем же так зло обобщать?! — крикнул ей вдогонку Лавров. — Несчастное совпадение...

Ольга не знала, куда приткнуться и бесцельно толкалась по городу. Потом она решила провести «Академкнигу» на Пушкинской. По-растерянности, вышла не в тот переход и очутилась у памятника, где как раз происходила «минифестация». Молодой человек с растительным лицом, этакий вольтерьянец-вегетарианец толкал речь, правда, доносилось крайне неотчетливо. Какая-то девочка слушала, приоткрыв рот, прижимая к хрупкой грудке журнал в традиционной прокуратурно-макулатурной обложке, но зато, уже — с содержанием...

Ольга шла мимо растительного юноши, размышляя о своих растениях-проводниках. «Академкнига» оказалась закрытой на обед. Она снова спустилась в метро — надо было прибываться к дому. «Если вы будете неправильно пользоваться эскалатором, с вами может произойти травматический случай!» — передали несколько раз в рупор, пока она стояла на движущихся ступеньках. И Ольге стало жаль растительного молодого человека, откидывавшего на Пушкинской свои «вольты», и себя, и девочку... И она снова представила себя убегающей и босой, неясно было только — куда? «...Достань... Цветаева была б... голову себе зачем-то обрила, зато Ахматова — нормальная женщина!» — прогудел кто-то сверху, над самым ее ухом, она побоялась поднять голову...

Она стояла на перроне, ожидая поезд; когда он подошел, ее с наскока вмяла в переполненный вагон темпераментная сука, полная жизненных соков, помогал доутрамбовывать гражданин с эластичным лицом. Ольга не противилась, жизнь все равно представлялась безнадежной... Что ее ждет? Димин квантовый генератор с пучком молекул аммиачной селитры? «Мои коллеги-мои калеки»... — родила она, глядя по сторонам, по дороге в вагоне, где всем надо было куда-то ехать; ей — к своим кладбищенским лилиям — то ли умереть, то ли отереть последнюю зеленую кровь с лица.

НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Жарко, жарко как... и пить хочется и вокзал Рижский рядом — люди идут быстро и толкаются друг о друга часто. Ничего, ничего — приду домой, умоюсь из-под крана живою водой. Зато вот они, георгины для дяди Миши, вот эти всем хороши — белые с острыми трубчатыми лепестками — «Вечер на рейде», так по крайней мере на табличке приманчиво обозначено, и сорт пионовый! Пионовые, да не пионы, бедняжки! никогда не проникнуть вам в высшее цветочное общество. Но дяде Мише понравится, непременно понравится... вот и дом его рядом.

Ах, да не держитесь за мою сумку! Нет, не куплю вашу кофточку, нет, даже если это маечка, извините, я тороплюсь. Да нет, почему не понравилась, очень понравилась... я? невежливая? Я очень вежливая. Почему кофточкой назвала? Ну не рассмотрела! Я в этом вообще плохо разбираюсь, да, поэтому и мужа нет. Какие пять рублей? Ах, вы рэкетиры! Да у меня сын такой, как вы! так, где же мой сын? Неужели все еще черешню пробует?! Хорошо, вот вам пять... мне тоже жаль, что с меня больше не возьмешь...

Так, георгины — пять, и пять — на рэкет, итого — десять; осталось тридцать — на полмесяца, вдвоем с сыном... Ф-фу, что я так напугалась, сын ведь теперь в ПТУ, у него стипендия. Никак не могу привыкнуть — я в библиотеке, а он в ПТУ.

Ах, это опять вы! Я же дала пять. Что? «Иностранную литературу»? Ах, вы тоже читаете? Нет, не могу, это библиотечная, да нет, правда — видите, формуляр! Что? Вернете в срок? Придется поверить, не подведите, я на вас надеюсь.

Ты что, Алексей? Мы же к дяде Мише идем! Нет, ты тоже будешь просить, нет, не хочу, чтобы мой сын был несунном, да мне хватает зимой два свитера — один сушу, другой ношу. Скажи спасибо, что наш дядя Миша — директор. Да, не любила его, да не ходила, ну и что? Теперь не до гордости... раз у меня такой сын! да я мечтала, что ты поступишь в университет. Нет, это не мой знакомый... Зачем отдала журнал? Я еще пять рублей отдала! То есть как, почему? Забыл где находишься? И как назло ни одного милиционера... А что я должна была сделать? Не давать? Ты что, не понял ничего? Это же был рэкетиры! Как ну и что? Нет, не догонишь, нет, мы пойдем! Ты что же это, а? драться в публичном месте собрался? И не стыдно тебе? Ну и сын мне достался! За что мне такой сын?

Алексей! вернись! То есть как это, совсем уходишь? Да ладно, стой, это же я так, автоматически... пословицу знаешь? «Кто палку взял, тот и генерал»... ну да, ну да, пошли... Он у меня обидчивый, но отходчивый, дуется, но пока идет.

Здравствуйте, дядя Миша! Да вам. Ах, вы не такие любите?! У вас поменялся вкус? Нет? все тот же? что? Не надо было пионовые... теперь понятно, хорошо, в следующий раз темно-бор-

довые и непременно с желтой сердцевинкой, это даже проще, такие мало кто берет.

Что вы, я очень хорошо помню... как у тети Клавы в палисаднике... и толстую Мурку на крыльце и огурчик пупырчатый на грядке, и лужицы теплые после дождя... и большую лужу на главной площади перед Правлением... Да нет, не иронизирую... дядя Миша, правда, я чуть не плачу.

Совсем недавно у наших была — лежу в своей старой железной кровати, представляете, сохранилась! — и листья молодые на старых деревьях шумят, шумя-ат о полузабытом, оставленном, а может о незнакомом, неизвестном чем-то... Лежу-мечтаю и жду... когда мой оболтус с танцев вернется! Я понимаю, что инфляция, именно образования.

Мне на работе заведующая недавно: «О-оо-лечка! вы ведь у нас писучая такая, напишите срочно объявление в гардероб, чтоб читатели свои сумки там оставляли...» Представляете, дядь Миш? Что? шоколадку? Вкусно, да... Только жизнь шоколадкой не закусишь, дядь Миш. Что? запить? Нет, спасибо, вы меня не так поняли... я знаю, что не чай... Что? предложили бы, но у вас чая нет? Да, сейчас в магазинах с чаем не всегда... бывают перебои. Что? Вообще чай не покупаете? Что же вы теперь пьете-то, дядь Миш? Я понимаю, да понимаю я! И уважаю, уважаю, да... не забываю родню.

Совсем недавно тетя Вера гостила, представляете, приехала на курсы переподготовки. Каждое утро, ровно в семь часов она подавала своим зычным голоском прямо из постели: «Вставай, страна огромная...» — после чего и в самом деле вставала и несла свое пышное белое тело в ванную. Ну, вы сами знаете тетю Веру! Где был Алексей? На каникулах в зимнем пионерлагере. То есть, как почему в пионерлагере? Раз путевку дают, должен же кто-то ехать? Я-то уж никак не могу! Что? Потом? Потом тетю Веру поселили в гостинице. Что? написать ей, чтобы в следующий раз прямо к вам? Вот здорово, она как раз собиралась на праздники, да... только с мужем, с дядей Колей. Что? Дядю Колю себе оставить?

Да, мужа у меня нет. У вас тоже никого. Щекотно, дядь Миш! Я понимаю, что по-родственному. Алексей, ты тоже понимаешь? Я подумаю, дядь Миш. Что? К вам прописаться, а сынку квартиру оставить? Разумный ход, только сразу как-то не того... как-то так, дядь Миш... Да какая гордость! Где вы ее только видели теперь? Я как следует подумаю... а пока... может простим его, дядь Миш? по-родственному... Как кого? Да несуну моего, да, правильно, он и не хотел... так случайный автоматизм, он в детстве такой был несун — как увидит, что-нибудь ненужное валяется, обязательно подберет и несет... и щепочку, и веточку и... что? Не валялось, нужное подобрал? Да... ну что делать — растет, умный теперь, соображать стал. Вот и славно, дядь Миш!

Ну, до свиданья! Хорошенько подумаю... а как же? Что?

Тете Вере? Конечно, передам... Щекотно, дядь Миш! Сынок, это по-родственному. И я, и вам...

Все, кажется, выбрались на свежий воздух! Ничего, что выхлопным газком приправлен, можно даже по эстакаде прогуляться, зато дома отрублюсь сразу... Ну, Алексей, смотри, теперь если что, я за тебя заступаться не пойду.

Кажется, до «Дома обуви» дотащились... смотри, сынок, туфельки какие модные! да, денег нет, но мерить-то, бесплатно! Здесь у бокового входа народу всегда немного...

Девушка? Это вы мне? И что? Ногу повернуть? Вправо или влево? Ах, и так и этак, пожалуйста, да... неплохо сидят. Что? Пройтись? сию минуточку...

— Ма, у тебя что, нет ума? — это мой сынок подключился.

— Ну зачем же так, Лешик? Это невежливо, раз просят, значит надо... впрочем, это я так... автоматически, хватит, пора домой.

Дома приляжешь, и хорошо-хорошо... живая вода из-под крана: кап, кап! Умыться бы, но кажется выхлопы действуют, сейчас задремлю... Нет, не хочу пельменей. На улицу? Нет, не ходи... И отвертку не дам! Какие друзья? Знаю я твоих друзей — ручки пойдете по этажам отвинчивать, а потом продадите на рынке! Сядь, книжку почитай.

♪ — Почитать надо мать или отца, — это он.

— Что за чушь! Набрался в своем ПТУ, — говорю я.

Какой у него все-таки противный ломающийся голос, и этот пушок над верхней губой... ну в кого, в кого он такой?

— Если это чушь, то я пошел, давай отвертку, где спрятала?

— Отстань, я ее выбросила.

— Ма, у тебя что, нет ума? Как же без отвертки-то в доме? Дай тогда молоток!

— Зачем?

— Я тебя стукну.

— Вот как? Ты настолько ненавидишь свою мать?

— Я тебя презираю...

— И давно это у тебя началось?

— Так, копилось по мелочам...

— По ночам?!

— По мелочам. Помнишь, мы шли однажды... это было уже почти зимой... ты встретила меня после школы, на плечо тебе капнул голубь, и ты смахнула голой рукой, без перчатки. Руки у тебя зимой всегда такие шершавые и красные.

— Красные... не знаю, не замечала, впрочем, возможно, зимой я всегда так мерзну, ну и голубь... все это от усталости, автоматически... Не знаю, что тебе и сказать, в общем — отвертка за шкафом, молоток, как всегда, в ящике для инструмента! — для него эта была слишком длинная тирада, убедил...

— Ладно, пойду куплю тебе крем для рук пока...

— Пока, пока, сынок!

ЗАГАДКИ

Мой папа очень любит свою работу — он в газете редактор. Когда мы с ним, например, гуляем в зоопарке, он внезапно требует: «Отгадай загадку, вся в полосах, а не зебра... что это?» И я послушно отвечаю: «Газета». А покупая, например, колбасу, он спрашивает: «Ты знаешь, какая бывает несъедобная колбаса?» Я говорю: «Знаю, вот эта...» А папа говорит: «Нет, это длинная газетная полоса со скучной статьей». И тогда, чтобы сделать папе приятное я смеюсь и удивляюсь, правда, не всегда сразу, поэтому родители считают, что у меня неважно с чувством юмора и замедленная реакция. Может быть поэтому я и люблю глазеть по сторонам молча, могу я в тишине минуточек хотя бы 5 спокойно на зебру полюбоваться? Оказывается нет, папа обязательно помешает. Молчит он только за рулем, поэтому с ним лучше не ходить, а ездить в машине. Мама часто удивляется:

*«Сколько же вам надо
бензина и шоколада?!»*

Она в рифму удивляется, потому что поэтесса. Мои родители меня очень жалеют — они не находят у меня чувства юмора, быстрой реакции и сообразительности и говорят, что я способен только на глубости... Например, поливая на даче редиску из лейки, я у мамы как-то спросил: «Мам, на кого похожа эта лейка?» Мама говорит: «На лейку». А я говорю: «Нет, она похожа на Хрюшу».

— Какого Хрюшу?

— Из «Спокойной ночи малыши»...

— Интересно чем?! — Удивилась мама.

— Чем же как не пяточком! — Объясняю ей я.

И тогда мама назвала меня «дурачком», но я не обиделся, потому что знаю, что она поэтесса и привыкла в рифму выражаться. По-моему, я все-таки в маму пошел, потому что папиного товарища по работе я как-то вместо Феликса Феликсовича Феликсом Телексовичем назвал, это потому, что он в это время телексную ленту просматривал. Но мне и за это попало, папа сказал, что из меня вырастет большой хулиган. И тут я обиделся, потому что вышло все это у него вовсе не смешно и не в рифму, как у мамы...

И тут я впервые серьезно задумался о самом себе, и на что я способен, и что когда я вырасту, мне наверно не разрешат редактировать газету, как папе и писать стихи, как маме, потому что стихи у меня какие-то совсем хулиганские получаются.

И папа заметил, что я загрустил и сказал: «В эту субботу мы пойдем с тобой в зоопарк!» Я говорю: «Это хорошо, только ты придумай новые загадки...» Папа растерялся и говорит: «А какие?» И тогда мне почему-то стало жалко его, почти также жалко, как им меня вместе с мамой.

НА БЕЗОПАСНОЙ ДИСТАНЦИИ

По ночам у меня над головой девочка плачет, она вторгается в мой сон, но я не раздражаюсь, не проклиная, может быть потому, что она не сразу надо мной плачет, а еще через один потолок.

Почему же так безошибочно, среди ночной тьмы узнаю я горькую уже во младенчестве дорогую «сестру» мою? Мне хочется прижать ее к себе, успокоить, но вместо этого сам собой складывается у меня в голове отрезвляющий детский комикс — девочка держала-держала зайчика в руках, пока он... не растаял, хорошо, что этот зайчик был шоколадный.

Нет, она мне не мешает, придумав комикс, я засыпаю; она плачет уже где-то внутри, во мне, я больше не различаю, где явь и где сон...

Однажды утром я вхожу в лифт, а там уже мама с коляской, и что-то поворачивается во мне, и помимо воли, я вдруг говорю, заглядывая в пеленки:

— Вы из 89-й?

— И у вас слышно? — Удивляется мама. — Да, она у нас любит поплакать, лю-у-бит поплакать...

И я про себя удовлетворенно отмечаю — все-таки «она».

На работе, за чаепитием, разворачиваю прихваченный по дороге утром в киоске журнал — «Знание—сила». Как раз на грустном месте, оказывается: «...к 2000 году представителей слабого пола будет около трех миллиардов — примерно на 175 миллионов больше, чем мужчин». «К 2000-му... уже скоро», — рассеянно соображаю я. Впрочем, к 2000-му я, пожалуй, буду уже вне конкуренции. Я — «уже вне», а моя соседка через два потолка — еще...

Нет, мы не соперницы на этой безопасной дистанции, душа моя не отравлена... и значит, ты истинная сестра мне «по человечеству», как сказал когда-то, уже *давно*, писатель Андрей Платонов в одном из своих *недавно* опубликованных произведений...

Апрель. 1985 год.

ЛИТЕРАТУРЩИНА...

Я люблю писателя Андрея Платонова, я просто брежу им и даже цитирую его тебе по ночам: «Поцелуй меня в левый бок лица...» И ты целуешь... почти так, как и надо моей душе и зондируешь меня успокоенно, безревностно и беззлобно... ты почти такой, как мне и нужно.

Я просила тебя прочитать «Котлован», ты сказал, что тебе скучно читать его. Чтож, прости мне этот маленький урок литературы ночью. «В начале было слово...» Нет, все-таки стоило поступить в аспирантуру, тогда бы я написала диссертацию на тему: «Эротика в произведениях А. П. Платонова». Теперь такое, пожалуй, и возможно. Ну пусть хоть кто-нибудь другой напишет! А с меня довольно этого интимного стихотворения в прозе...

КАЦАП*

Кацапа не надо путать с Кацем или, скажем, с Кацо, хотя все они вкупе и причинили не мало бед моему дорогому отечеству. Но Кац или Кацо — это как бы временщики, у них своя прародина, а вот от кацапа уж так обидно, так обидно...

Кацап, ведь, коренной этнос, обитающий в центре, а скорее, в самом эпицентре среднерусской возвышенности, и от него кругами в разные стороны расходятся волны, аж до Камчатки и Коканда.

Ах, Фиорованти, Фиорованти! Или, скажем, Алоиз, Алоиз! А ведь были и другие возможности. Можно, ведь, было и отказаться и хлопнуть дверью, да в Тверь, по Тверской с бубенцами или под Новый год.

Н-но... стоит Фиорованти, а рядом андеграунд для ради естества, а в том андеграунде кацапка в белилах-румянах, насурмленная, заграничными кофтами трясет, такими, что сказка! Или скажем — история. А «историю» увековечить надо. И вот, пожалуйста, в музейон у Никитских ворот — туалетная комиссия, андеграунд для ради естества в законе.

И почему вот кацапка перед покупателем заграничным трясет? Дорог ведь товар, и стоять с ним дольше надо, но ей ничего, лучше так простоять, чем работать. А в крайнем случае, и себя предложить может. А свой товар кацапка не уважает, потому как что ни пошьет, ни стачает — никто не покупает, свои из-за отсутствия чувства локтя и солидарности, а чужаки-иностранцы просто оттого, что вредные, из-за гордости. Или у них чрезмерно развито чувство юмора. Потому что не могут вынести вид кацапкина рукавчика с фестончиком или юбочки с тесемчонкой без улыбки. Потому что кацапка даже из хорошего матерьяла такое содеет... такую красоту, которая сродни только половому извращению, причем в изощренно-грубой форме, и которая происходит, скорее всего, от василиска, по средневековому рецепту: это когда двух пожилых заматерелых на курах петухов, лет по 12—15 сажают в очень тесный андеграунд, без оконцев и дают им еды обильной, а как разжируют они, то от пыла, вызванного собственной тучностью спариваются и откладывают яйца и сами насиживают, а потом из тех яиц вместо золота и вылупляются всякие там юбочки, кофтенки и даже щиблеты со шнурами. И кацапка их потом продает.

Конечно мало кто, но все же покупают, потому что можно от этих товаров смехом на месте изойти и тут же просто кончиться, и многие кацапы так и кончают, не донеся, прямо на родимые на байковые или в бюстгальтер, желательно бабушкин.

Да, в самом деле, вспоминаю себя в 9-м классе вместе с соучеником, он даже из такой интеллигентной семьи, и сам, отчасти, уже интеллигент, но презерватива не переносит. «Куда, — гово-

* Орфография местами народная.

рит, — тебе кончить?» А я неопытная такая, но держусь твердо: «Что хочешь со мной делай, только не кончай совсем, никогда, мне нельзя!» А он говорит: «Давай в бюстгальтер». Я говорю: «Ладно, бери, потом постирну». А он: «Принеси лучше бабушкин». Вот таким образом, в позе сфинкса.

Но вообще-то, дело не в том, главное, хорошо, что цены на все товары повысили раз в 10—15. Потому, что только у кацапов бутылка водки может стоить 10 р., а килограмм «мишек» — 100, тоже р. А настоящие доподлинные кацапки мишек не признают, они потребляют «народный напиток».

И все-то теперь довольны, так довольны, что хоть святых выноси, прямо до ужаси. А как же? — вернули народному напитку исходную, даже ниже, в одной цене с мясом. Сразу видна руководящая и направляющая — у них ведь выхода-то другого не было, ошибки надо исправлять. А как же? Зато теперь кацапы снова поверят в свое светлое будущее и дружными рядами...

А как же со мной? Да не хочу я этой «слезы кладесной», «воды родниковой», «ключей светлых народных», а дайте мне мишек, хотя бы грамм 100.

Я хоть и была испорченным ребенком, но чтобы так... нет, меня мама не на напитке народном воспитывала, а мишками угощала. «Нет, я не вынесу, сломаюсь, я слишком тонкая», — так говорила в нежной детской сказочке у Андерсена какая-то иголка, а может быть шпилька... и все не ломалась и не ломалась... Ах, Андерсён, Андерсён! Ах, ты мой милый Андерсён? А я вот ломаюсь... А мне говорят: «Нашла бы себе какого-нибудь со средствами, что тебе такой хорошей стоит? А то ворчишь и ворчишь...» А я говорю: «Тогда мишки будут еще дороже». А они тревожно: «А когда, а когда, а вы точно заете?» И удивляются и не понимают.

Здесь вообще некому понимать, потому как заняты одним — воруют. И трудно понять, как это кто-то не желает быть ни вором, ни проституткой, а кругом столько желающих, а их не берут, а мне предлагают, а я не хочу. Еще и оскорбиться могу — разули, раздели, а теперь еще и на панель советуют. «Подумаешь, какая важность!» — это они.

Да, не понимают, а я их, кацапов понимаю, что же еще кацапам делать, как не воровать, да распределять, они ж больше ничего не умеют. Вот и прибалты. Кацапы твердят: «Они нас не любят». А за что вас любить? Вот ваш трикотажный свитерок, а вот их, прибалтский. Неужели не ясно?

А мне один кацап говорит: «Какая-то ты не наша, не натуральная, не доподлинная, не настоящая, не кондовая такая, не своя в доску, и сатиновые мои гражданские тебя не возбуждают, нет, не будем *МЫ* тебя печатать, а катись-ка ты, за границу к дорогой своей такой-то драповой матери, задрипа ты, неприкаянная!».

Выходит, я здесь и не нужна, и не своя и воше, на всех расчитано не было. Так зачем же я здесь? И чья же я тогда?

Подскажите мне, люди добрые!

АВТОГРАФ

Посвящается Андрею Белому

Происхождения я средне-статистического, судьба моя — Русь с мордовским коленцем, толи от всадника Медного, толи виноват Грифончик-графинчик. Ровно в 9.30 телефон подкрученный пикает, ишь сигналит, будто на службу! И не лень от своего «кирпича» на другой конец Москвы шастать?

— Жми скорей! — У меня уже тикает минтайница с ужасным содержимым в томатном соусе.

— Жму! — Жмет колесом-копытом по твердокаменной.

И семь цветов радуги — Белый пояс Афродиты из синтетической холстинки натягиваю. Зачем? Затем, что семь цветов еще не слились, еще змеятся во мне дивными узорами. Да чего там особо гордиться, небось до перестройки нравилось, я ж не металлистка современная со стальным лоном. То в ногу все иду, то отстану, устала... отдохнуть-подумать хочется...

Но некогда! Приехал — дышит и пышет и пашет, что русская женщина наша, Грифончик мой, опять пополам с графинчиком. Эротическим жезлом орудуя, указывает мне истинный путь...

— Хотите курить? Курите.

— Спасибо, я не курю.

Ладно, иди, вонзай кинжал под мышку, у меня уже минтайница тикает с ужасным содержимым в томатном соусе... Не отвечивай в модельных трусах!

Революция... 1905-й год, домоуправление отключило воду, у барыни тазы да кастрюли про запас наставлены... И Великим Водолеем ко мне опрокинулось, пере-текло... Выдергиваю осторожно по осколочку стекло во второй раме.

— Это ДЭЗ? Пришлите плотника стекло вставить.

— У нас на два ДЭЗа один плотник и тот в отпуск гуляет...

Месяц гуляет, два гуляет, четыре — приходят два сантехника, «в до минор», за одно стекло вдвоем держатся.

— Мы вставлять... стеклышко с трещинкой...

— Где же вы успели, еще ж далеко до 2-х?

— А тебе что, зачем знать? Может ты коммунистка? Скажи спасибо, что вообще пришли, «на стекло» надо с «мастером» договариваться, а не совать свои денежки по квитанции в сберкассу. Недогадливая ты наша, вот и промаялась четыре месяца! Далее следует на *maternus lingua* (лат.).

И тут я начинаю соображать, что у нас действительно революция происходит. Ах лимита-лимита, хотя бы для вас вроде той барыни была! Гордо держится в метро гражданин, товарищ гирляндой из папифаксов увенчанный, граждане-товарищи на всех углах коммерцией занялись, трясут аж неглиже — по-московски, это вам не «европейский проспект»... По телевидению отвечают на гласность всенародным оргазмом.

Грифончику-графинчику шины прокололи. Очевидно, и на мою

особу кто-то издали с прицелом претендует, правда в глаза мне пока не осмеливаются, потому что любому рэкитеру наедине в лифте сигарету из зубов вырву и с этажа спущу, кто на стенках маразмы выпарапывает и линолеум с пола по квадратику перетаскивает, потому что участковый говорит: «Теперь демократия... нельзя крутые меры...».

Тикает, тикает минтайница со страшным содержимым в томатном соусе... Вся надежда на хозрасчет, а его все нет и нет... Было только первое пришествие его, теперь все ждут второго... Вот придет полный хозрасчет и всех рассудит.

Но что человек есмь? Прямоугольничек временно не умещающийся в квадратик вечности, потом прямоугольничек сожмется, квадратик расширится... — страшно мне грешнице-сердешнице, неужели минтайница тикать перестанет? Неужели и этот, такой живой с арбузом в животе? И эта стыквой под юбкой? Неужели все там будем, такие живые... как этот чурбан осиновый, побитый ослиным копытом? Шарфик свой фисташковый мучительно в пальчиках тискаю... Неужели и этот хамо-сапиенс, человек естественный — хочет смеяться — смеется, хочет орать — орет, хочет нравиться — пристаёт...? И он убудет по химии?

Невыносимый погребально-визуальный обряд! Но это все не сейчас, сейчас смотрю из окна на отбросы вокруг мусорных контейнеров и искусством силюсь преодолеть «иррациональность помойки». Наука тем более не поможет... «Гармонию можно поверить алгеброй» — хаос жизни — никогда. Запутаясь в дифференциалах.

Так что гармония сама по себе, а жизнь...

1986 год.

СТРАХ ЗЕМНОЙ

Миша небольшого роста, узкоплеч, сутул. Майка висит на нем свободно и лишь немного натягивается на выпуклом животе. Ольга стучит в большую, мамину комнату и говорит тихо, потом чуть громче:

— Мишм, Миша, открой!

Миша открывает ей с точно таким же выражением на лице, какое у него было, когда Ольга забирала у него остатки еды — стоит и хмуро смотрит:

— Ну, чего тебе?

— Я бы хотела телевизор, кино посмотреть, — несвязно бормочет Ольга, слыша, как в телевизоре рокочет футбол.

— Я занимаюсь, не мешай! — цедит Миша презрительно сквозь зубы и нажимает на дверь, не заботясь, убрала ли Ольга руку, которой облокотилась было о косяк.

Ольга моет грязную посуду на кухне, а потом забивается в свою комнату. Она боится Мишу и ненавидит себя за этот страх. Это ее дом, ее квартира. Что здесь делает этот чужой, совершенно чужой ей человек?

Когда мама была жива, они встречались, ходили в театр на контрмарки — откуда-то они у Миши оказывались, а в антрактах как-то так само получалось, что Ольга кормила Мишу бутербродами и поила соком от радости, что в театре она не одна, а с каким-никаким, а кавалером. Когда они возвращались домой, Миша рассказывал ей смысл пьесы и, как бы пьеса ни была хороша и светла, смысл у нее выходил жестокий и желчный, как сам Миша. Если конец пьесы был плохой, то в нем всегда были виноваты женщины, которые, как леди Макбет, втянули мужа в жестокую игру.

«Мужчин разве втянешь, если они не хотят? — с сомнением думала Ольга, прислушиваясь к мишиным словам, — если они не ищут для себя пользы или выгоды? Им — лишь бы действовать, лишь бы самоутвердиться в чем-нибудь, в чем угодно, хоть в правом деле, хоть в неправом. С ними и ангел в ведьму превратится, если, конечно, боится какого-нибудь одного из них потерять».

«Если бы леди Макбет, такая красивая и богатая, на ночном ложе увещевала бы своего властного мужа: «Буть тихим и добрым, не рыпайся ты в рыцарские дразги, живи себе тихо и скром-

но и меня люби», — так он первым бы делом с ней развелся, а, может быть, и прикончил, ведь тогда разводов не было, слуги далеко, дети тоже, стены у замка толстые, двинул бы ее о тумбочку головой — и дело с концом. А потом один все бы и совершил, что ему было на роду Шекспиром написано. Да нет, не один, куда ему одному, одному скучно! — да и трус он, ему нужно было все время свой злой завод поддерживать, да подхлестывать, чтобы плакал не гас. Нет — он бы прихлопнул леди Макбет хорошую и нашел бы, может быть, даже и не леди, а служанку, или экономку, или кто под руку подвернется, но только по характеру вылитую леди Макбет, уже как у Шекспира, такую же дуру, и с ней бы уже и плохо кончил, но только вместе и под его чутким руководством».

«Нужна женщина мужчине, да и женщине мужчина нужен, — продолжала напряжено думать Ольга, вслушиваясь во властный мишкин голос и не разбирая его слов, словно боясь услышать в них оскорбительные для себя намеки, боясь, что тогда непременно придется обидеться и расстаться, — но по-разному они друг другу нужны. Мужчина часто чувствует, что плохо кончит, но для храбрости, чтобы одному не страшно было в пропасть лететь, он себе обязательно подругу жизни найдет, которой мог бы и во время лета командовать», — размышляла Ольга.

«Вот однажды Миша ее рассказывал, что один немец, кажется, писатель, с собой покончить хотел, но одному тяжело было, не по себе, и стал он спрашивать знакомых женщин, даже тех, кого забыл за ненадобностью в жизни, мол, кому со мной по пути... на тот свет? — И нашлась такая — что вовсе и не странно. А если бы в газету объявление поместил, то, может быть, и нескольких нашел бы на выбор. Но ему, слава богу, выбирать не хотелось, и он той, первой, удовлетворился и с ней в мир иной отошел».

Путь до дому был долгий, жила Ольга с мамой на самой окраине, и каждый продолжал свое: Мишка — бурчать, Ольга — думать.

«Сколько раз я замечала, — развивала свою мысль Ольга, — что, когда женщина одна от шумной компании отделяется и пускается в ночную темень, в грулой переулочек или перелесок, то, если все мужчины при бабах или не нравится она никому, то и никому с ней не по пути. А уж если и по пути, то только в том смысле, что за этот путь ему полагается награда. Да они еще и полдороги не прошли, а он уже виснет, и липнет, и дышит перегаром, и, кажется, что если бы не грязь и не слизь, и не хотел бы он сам отдохнуть у нее до утра, то разложил бы родимую под кустом, сделал свои дела и пошел своей дорогой. Но боится провожатый, потому что выдалась ему не просто баба, а бой-баба, ну, прямо леди Макбет, которая верным шагом ведет суженого на ночь в свою квартиру, на чистые простыни, да и такую чистюлю из себя корежит, что, мол, без чистых, свежих простынь ей и самый умный, самый красивый, самый отчаянный, самый-самый,

ну, то есть всего лишь тот самый замухрышка, который за ней тащится, отдуваясь, чертыхаясь и икая, даже и он ей не мил. И какой он ей в темном переулке или закоулке опора и защита? Да она его скорее защитит. Но все же вдвоем не так страшно, как одной, хотя на самом деле она и с ним одна, как есть одна. И на ночь он ей не нужен, одной-то поди лучше, просторнее! И тащит она его, чтобы гордость свою насытить — не одна! Хоть помирать, а ей и помирать не страшно, — а все не одна! Нужна кому-то. Вот такую-то дуру немецкий поэт и нашел, только чахоточную. И ему было приятно, что он не один, когда он свой последний подвиг исполнял, что женщину нашел, которая его желание поняла и во всем была с ним согласна — на самом-то деле ее судьба к смерти вела, а ему, мужчине, то есть, казалось, что она его воле подчиняется и даже подсказывает ему то, что у него уже давно на уме было. Что искал — то и нашел. Честь ему и хвала!»

От такой дурости мужской у Ольги даже мурашки по телу пошли.

Молча и тихо входили они в квартиру после театра, потому что мама Ольгина — живая тогда еще была, слава богу, уже спала, а, может, только притворялась, что спала, но только дверь в ее комнату была закрыта.

Мать понимала, что Ольга уже не молода, и не строила ей препон — как говорится, тихо уходила со сцены, пряталась и затихала в своем углу, потому что уже потеряла надежду, что ее Ольгу мужчины будут запросто так водить в театр, а потом кто-нибудь, глядишь, и женится на ней, а уже после свадьбы она, мать, потихоньку ему объявит, что Ольга у нее больная, а он, то есть тот единственный, может быть, дурак, а, может и благородный, ответит ей, что любит Ольгу больше своей жизни, будет любить и заботиться о ней до самой ее смерти и никогда ее не покинет, а что она больная — так это сущие пустяки. Об этом ему, мол, Ольга и сама перед свадьбой говорила.

Мать такую его ложь выслушает, улыбнется и благословит. И легче ей самой и жить будет, и умирать. «А что, — говорила себе Ольгина мать неуверенно, — мой-то, правда, не такой был, он-то знал, чего хотел, но, по-моему, в мои годы такие благородные мужчины водились». Она-то их лично, по правде говоря, не видела, но ей подружки про них рассказывали и соседки. А вот на нынешнюю молодежь Ольгина мать почему-то не рассчитывала. Не было у нее доверия к нынешней молодежи. И к этому Мише, которого Ольга в театре кормила на свои деньги, доверия тоже не было. Вот хоть бы раз проводил Ольгу и не остался?! Просто так проводил. Нет-нет, после театра Ольга обязательно кормила его ужином — мать слушала, как дочь стучала тарелками на кухне — ведь квартирка-то крошечная — а потом, хоть и мать знала, что Ольга сегодня не очень хорошо себя чувствует, но не может ему сказать — боится, — Ольга шла в свою комнату, а он за ней и оставался до утра.

— Брось ты его, — уговаривала Ольгу мать. — С ним тебе просто, конечно. Он такой властный и угрюмый, что даже желаний своих и угадывать тебе не позволит, а если в чем опередишь, то не только не обрадуется, а еще и побьет, то есть, может быть, в душе и порадует, и похвалит, а все равно избыет, чтобы неповадно было его упреждать. Зато, если какое его высказанное желание не исполнишь, угнетать будет, угнетать — и со свету сживет!

Бывало, и хочет Мишке Ольга горьких слов наговорить, и бутерброда в театре не купит, и ждать его не будет, а оденется в раздевалке — Мишка ей пальто все равно никогда не подавал, сам за собой ухаживал, а когда шапку надевал, то всегда в зеркало на себя любовался долго и серьезно — и выскочит Ольга на мороз, и побежит к метро, глотая слезы и думая о том, что все уже кончено, все! и только начнет она чувствовать облегчение от того, что одна, и пойдет медленнее и свободнее, оглядываясь по сторонам — он не любит, когда она оглядывается, и всегда делает ей замечания — как чувствует твердую, широкую ладонь на плече, потом на спине, а потом и под руку — хватить. Оглядывается — он.

— Чего торопишься?! — цедит, держа ее за локоть и не отпуская. И у Ольги не хватает сил вырваться из-под его руки.

Так и тянулась Ольгина единственная и постылая любовь, и казалась она ей вечной, пока мама не умерла.

И каторжная любовь превратилась в каторгу без любви. На работу Миша не ходил, говорил, что не годен к мирскому поприщу и готовит себя к божественному служению, читал день напролет самоделные перепечатанные книги и ел то, что было в доме, что покупала вечерами Ольга. Готовил только себе и лучшие куски тоже забирал себе, ел сосредоточенно, молча, весь поглощенный собственным насыщением и восстановлением сил.

Ольга подъедала остатки. Она знала, что больна и что никакие жиры и углеводы не в силах спасти ее от слабости, обмороков и удушья во время головных болей. Еще при маминой жизни врачи ее обследовали, обследовали, ничего не нашли, да с тем и оставили.

Все равно остатки сил. гратить не на кого, пока работает, надо работать — а работала она регистратором в поликлинике — она знала, что смысла никакого нет все под себя грести, все равно не спасешься, тоненькой ниточкой держишься за жизнь, а как перервется — ничего не поможет: ни доктора, ни обильная пища, ни Миша.

«Поэтому не следует быть эгоисткой, — убеждала себя Ольга, — стыдно быть эгоисткой, мне все равно не спастись, я не крещеная и не верующая, так пусть уж Миша не работает и, читая богоугодные книги, душу свою спасает, а заодно, питаюсь той бедной пищей, которую она ему приносит, он спасает и тело для нынешних богоугодных дел». И не то, что она надеется, будто Миша замолвит за нее перед богом словечко.

Во-первых, он не из таких, чтобы за нее замолвить, не считает он, что она того достойна, убогая какая-то, не такая ему досталась, за которую можно перед богом ходатайствовать. Во-вторых, все равно она, Ольга, обречена и раньше Мишки уйдет, так что, когда он пред очи божьи праведником явится, с ней все уже будет решено, решено и подписано.

А в третьих, Ольга всегда атеисткой была, в атеизме все просто было — бога нет и бессмертной души нет, так легче, так меньше мир заселен и живым спокойней дышится, а иначе — как все это помыслить, как представить скудному Ольгиному уму безбрежность и всеохватность мира божественного и неисчислимое множество вечных, бессмертных душ. «А образ у них каков? — думала Ольга, — неужели такой же, как и у Миши — суровый, с поджатыми губами, с осторожным, напряженным взглядом. И бессмертная душа его такая же злая, как он, и добрее не станет!» — в этом Ольга была уверена.

В театр он ее больше не водил, денег на кино и развлечения не просил, на одежду тоже, питался только, читал и смотрел телевизор. В его комнату, бывшую мамину, не пускал, имел ключи от квартиры — уходил, когда хотел, но вечерами почти всегда сидел дома.

Иногда ночью, когда Ольга уже спала, молча заходил в ее комнату голый, ложился рядом, стискивал ее так, что ей становилось больно, молча делал свое мужское дело и уходил, ни разу ее не поцеловав и не погладив на прощанье. Она со сна даже не всегда понимала, что произошло.

— Ну, ты спи, спи, — бормотал он, — я не мешаю, — а когда он уходил, то Ольга обнимала подушку худыми руками и плакала без слез.

Пока работала, деньги, оставшиеся от мамы, Ольга старалась не тратить, держала на черный день и прятала их под белье в платяном шкафу, который стоял в ее комнате у изголовья. Она часто их пересчитывала, иногда небольшой суммы не доставало, значит он, в ее отсутствие деньги находил и, где тайник — знал, но, видно, вся сумма ему была не нужна, потому что, когда переехал к Ольге, то сказал, что бросил пить и теперь будет заниматься только богоугодным делом.

Черствый и заплесневелый хлеб сам не ел, но и выбрасывать не давал, иногда кидал его голубям, но редко, а если замечал, что Ольга выбрасывала хлеб на помойку, то бил Ольгу не очень больно, но методично. Во время этих его уроков Ольга больше всего боялась, чтобы не удариться головой о стол, и не начались обмороки и удушья, но пока все обходилось.

Весной Ольге стало совсем плохо. Она перестала ходить на работу, лежала, тяжело дыша и покрываясь потом. Приходил знакомый врач из поликлиники, выписывал рецепты, но Миша сидел в бывшей маминной комнате, как всегда, плотно прикрыв дверь и к врачу не выходил. Ольга пару раз просила соседку

купить лекарства, но узнав, что они дорогие, заграничные и облегчения не приносят, бросила это дело.

Мишка стал заходить в ее комнату и брать деньги на еду сам, прямо из-под белья. Брал он столько, сколько ему было нужно, не больше. Ел на кухне, аккуратно мыл посуду и шел в свою комнату. Ольга ждала, пока он насытится, а потом выходила на кухню прямо в ночной рубашке — худая, изможденная, нечесанная, варила себе овсянку на воде, ела несколько ложек, а потом запивала чаем.

Одажды пришла заведующая отделением из поликлиники, старая и грузная врачиха, устроила скандал, сказала, что Ольгу нужно срочно поместить в больницу. Ольга ей долго шептала, что она сдала комнату чужому человеку, что у него ключи, и он ее обратно в квартиру может и не пустить.

— Как это не пустит? — громко, на всю квартиру удивилась врачиха. Мишка в той комнате молчал.

— Подождите еще немного, — умоляла врачиху Ольга. — Может, полегчает? — а сама про себя решила караулить Мишку, надеясь, что он когда-нибудь по рассеянности оставит ключи дома, ведь уже становилось тепло и он иногда — она подглядывала из-за приоткрытой двери — выходил на улицу без пальто, в одном старом, драном свитере.

В его редкие уходы, она вылезала из-под одеяла и внимательно, немея от каждого шороха, обыскивала карманы его пальто — ключей не было. Ее давно уже преследовала мысль, что, как только кончатся деньги, Мишка убьет ее, он и так страшно зол на нее за то, что она не смогла обеспечить его как следует, отлынивала из-за болезни от работы, не приносила денег, а ее костлявое, грязное тело даже в нем стало вызывать отвращение.

— Поеду в деревню, — как-то раз объявил он, — найду там ядреную бабу, будет меня молоком поить и любить за троих — а ты совсем никудышная стала.

Он бивал ее по-прежнему, под настроение, но никогда не ругался, стеснялся перед господом, сдерживался, считая, что ругаться — самое последнее дело для ведущего человека.

Ольга сначала было после его слов понадеялась, что он уйдет, но он никуда не ушел и продолжал жить дальше.

Однажды он вышел из своей комнаты, резко хлопнул дверью и пошел на кухню, распахнул дверцу холодильника — Ольга почти не вставала, но по шумам распознавала все, что делается в квартире — долго разглядывал пустой холодильник, почти бесшумно его закрыл, зашел в Ольгину комнату и стал рыться в тайнике под бельем, который для него уже давно тайником не был. Ольга лежала, закрыв глаза и не шевелясь. Она боялась даже взглянуть в его сторону. Он молча и зло бросал ее вещи прямо на пол, пока не нашел какую-то купюру. «Наверное, она последняя», — думала Ольга, зарывшись в одеяло.

Он быстро вышел из ее комнаты, открыл входную дверь и захлопнул ее. Ольга долго лежала и не могла сосредоточиться

от слабости. Потом она выползла из-под одеяла и босая побрела к вешалке, чтобы, как обычно, обыскать его пальто. Ключи были в кармане. Руки ее вспотели и задрожали. Она взяла ключи и с наслаждением заперла дверь изнутри, села прямо на пол и стала ждать. Она слышала, как подошел Мишка, как он чертыхнулся, обыскивая брючные карманы, потом нажал на кнопку звонка и стал звонить, не отрываясь. Звонок, поставленный еще в мамины времена, звонил непрерывно и игриво переливался. Ольга сидела на полу, тяжело дыша, прямо рядом с дверью и молчала. Там за дверью была ее смерть, а она и так слишком слаба и больна, чтобы делать усилия ей навстречу. Денег в белье больше не было, он взял последние, взял все, что мог, больше брать у нее нечего, пусть теперь ищет другую, пусть уходит. Но он не уходил, он стал стучать кулаком молча и страшно, а потом и ногами.

— Открой, — кричал он, я знаю, что ты еще живая, нечего притворяться, открой! Все равно от меня не уйдешь.

Ольга растянулась в маленькой прихожей и легла головой к двери. Чтобы сразу, чтобы не мучаться — если дверь поддастся, то сразу на нее — и конец. Дверь набухла шумом и грохотом, гудела, как живая, но стояла. Ольга вспомнила, что мама когда-то укрепила ее от воров. Ольга лежала и ждала.

Внезапно шум прекратился, что-то отвлекло Мишкино внимание.

— Ну и подыхай одна, — прокричал Мишка, — а за пальто я все равно вернусь.

Его шаги затихли. «Жива», — подумала Ольга и перекатилась на спину. Она лежала на холодном полу, и ей казалось, что она растворяется в душном воздухе квартиры. Она не знала засыпает она или умирает. «Слава богу, одна!» — успела подумать она напоследок.

С Т У Д Е Н Ь

Когда муж с дочерью уже заснули, Нина закончила кипятить белье, прополоскала его и тоже легла. Но что-то не спалось. Сырым холодком под сердцем зашевелилась тревога. Нина попыталась не обращать на нее внимания. Тревога разрасталась и пробежала судорогой по телу, как будто на живот положили грелку со льдом. Нина попробовала тревогу успокоить, заговорить. «Это все потому, — думала она, — что белье может завтра к вечеру не высохнуть, а послезавтра должны быть гости. Белье нужно погладить до их прихода и успеть как следует заняться столом».

Гостей пригласил ее муж — подающий надежды ученый. Люди придут солидные, от которых зависит будущее мужа, поэтому подготовиться следует основательно. Завтра ей нужно будет на часок отпроситься с работы, чтобы занести в редакцию новую статью мужа. Он пишет докторскую и работает дома.

Нина улеглась поуютнее, свернулась калачиком и покрепче поджала ноги. Может быть, так она быстрее заснет. Ведь вставать-то рано, в шесть, чтобы приготовить дочери завтрак, а потом, разбудив ее в полседьмого, сделать с ней зарядку. Делать зарядку настоятельно советовали врачи — дочь сильно ослаблена операцией и долго лежала в больнице, куда Нина ездила после работы почти каждый день. Не о дочери ли ее тревога? Нет, вроде нет, с дочерью, тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить, все в порядке. А если все в порядке с мужем и с дочерью, значит, и Нина должна быть счастлива. И она счастлива.

Нина поерзала и перевернулась на другой бок, слегка откинув одеяло. Слава богу, во время бессонницы она уже не мешает мужу. С помощью родителей они купили новый, роскошный четырехкомнатный кооператив на окраине Москвы. Правда, на работу пришлось ездить значительно дальше, зато какой простор для мужа и ребенка! И какая кухня для нее, для хозяйки! Откровенно говоря, с мамой было жить значительно легче, но муж очень уж хотел самостоятельности, своей отдельной квартиры, где они могли бы наконец-то зажить, как все. И приглашать приятелей, в основном, приятелей ее мужа, к себе.

Нине стало тяжело принимать так много народу — у мужа оказалось пропасть знакомых и просто необходимых людей. Но она не жаловалась. Нужно мужу, значит, нужно и ей. Муж и жена — одна сатана. «И вообще, — заговаривала Нина тревогу, пытаясь разжалобить ее и заставить отступить — она, Нина, счастлива. Да, да, счастлива, потому что всего добилась сама. Сама приехала в Москву из глубокой провинции, поступила в Университет, на последних курсах нашла себе жениха-москвича, симпатичного внешне и очень перспективного, вытащила из провинции свою мать и прописала ее в бывшую свою коммуналку, чтобы мать помогала по хозяйству».

— Ты все делаешь по плану, — удивлялись ее подруги, а Нина весело и загадочно улыбалась. Она всегда знала, что счастье надо добывать своими руками, ковать своими руками, как выражалась ее мама. Правда, мама иногда и расхолаживала:

— Не суепись, детка, — говорила она, — не стремись быть лучше всех, это дорого тебе обойдется. Береги себя, голубушка, не строй планов-то, живи, как живется, да и мужа к делу приставь. А то он у тебя — ровно барин. И не напрягайся сверх меры. Суета все это, суета!»

Нина с матерью не спорила, но и не соглашалась с ней. Как это — жить не напрягаясь?! Все: работа, дочь, муж, квартира требуют ее особого внимания и заботы. Только путем постоянных усилий можно добиться полного счастья. Ведь счастье — это не какое-нибудь там блаженное состояние, в которое, раз достигнув, погружаешься, как в ванну с горячей водой и сидишь, сложа руки. Счастье надо постоянно поддерживать, как огонь в печи, трудиться без передышки и никогда не успокаиваться, ни на

мгновение. При этой мысли Нина снова заворочалась, сердце стало биться учащенной.

«Хоть бы заснуть!» — подумала она. А мысли подгоняли ее и будоражили. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Хоть и прописная, но мудрая истина. И свое множество обязанностей надо выстраивать в четком и логичном порядке: прежде всего она должна заботиться о дочери, потом о муже, потом о квартире, потом о работе. Правильно. Но работа... сейчас там сплошные сокращения, а Нина и в рабочее-то время думает о работе все меньше и меньше. А дочь? Отдавая всю себя дочери, она может забыть и о муже, а его тоже надо обслуживать, как малого ребенка, тем более, что днем он дома и предоставлен самому себе. И запросто может найти себе другую. Среди ученых гостей стали появляться женщины, хорошо ухоженные женщины и в большинстве своем — одинокие. Может быть, от этого и тревога? Нет, нет, муж никогда никаких поводов для ревности ей не давал и, значит, она может оставаться счастливой и спокойной. Просто надо правильно выстроить обязанности: муж, дочь, работа, квартира. Так-то будет лучше. А, может быть, не так? Об этом не следует размышлять перед сном, от этого только возбуждаешься, вместо того, чтобы заснуть. Лучше думать на работе, когда выдастся свободная минутка. Или вообще не думать. Все важно, все должно быть на первом плане, в пределах видимости! А перед сном стоит решить, что она приготовит на послезавтра. До гостей оставался всего один свободный вечер.

Она порежет колбасу, наvertит печеночного паштета, испечет пирог и еще... еще наварит студня. Может, пригласить маму, чтобы помогла. Но Нина боится, что мать будет раздражать мужа, и поэтому она приготовит все сама.

Тревога под напором мыслей вроде бы немного улеглась. Названия блюд стали путаться в Нининой голове, и она поняла, что засыпает.

Спала она тревожно, беспокойно, а под утро ей приснился сон, будто она приготовила отличный студень с тускло отливающей поверхностью, сквозь которую просвечивали оранжевые звездочки моркови. Она тщательно выложила студень на большое фарфоровое блюдо с загнутыми, волнистыми позолоченными краями, обхватила его обеими руками и понесла в гостиную. Она шла и шла, а коридор казался ей особенно длинен. Она засемила, прижав блюдо к груди, где-то вдалеке шумели и смеялись гости, а коридор все не кончался. Внезапно Нина задела ногой за что-то на полу, оступилась, выронила блюдо и, по инерции сделав шаг вперед, попала ногой прямо в студень. «Слава богу, блюдо не разбилось», — подумала она и в тот же миг почувствовала, что тонет. Студень обволакивал ее тело, и она медленно погружалась в вязкую, холодную массу. Она тонула, но молчала и не звала на помощь. «Выкарабкаюсь», — подумала она, поджала ноги, раскинула руки и камнем пошла ко дну.

— Вставай, вставай, Нина, ты опоздала на работу, — кричал ее муж, стаскивая одеяло.

Нина лежала на боку, вся сжавшись, обхватив руками колени. Губы ее были плотно сомкнуты и растянуты в непонятной улыбке, а глаза смотрели на мужа остро и жалобно.

— Нина! ты что, не слышишь меня? — он стал ее трясти, а Нина по-прежнему лежала скорчившись и смотрела в одну точку.

— Дочь уже в школу пошла, — надрывался муж, — а ты ее даже не проводила!

Нина не реагировала.

— Ниночка, Ниночка, что с тобой?

Муж побежал к телефону и вызвал врача.

Участковый врач пришел днем, долго нащупывал Нинин пульс, пытался разжать ее колени, но напрасно.

— Никакой соматики я не нахожу, — сухо сказал он Нининому мужу. Попробуйте обратиться к психиатру.

Муж сбегал в школу и попросил оставить дочь на продленку.

Психиатрическая скорая помощь подъехала к вечеру. Когда Нину уложили на носилки, как есть, в ночной рубашке, муж второпях схватил одеяло и набросил его на жену.

Будто почувствовав заботу мужа, Нина внезапно приподнялась и, глядя прямо на него, сказала тихим голосом:

— Слишком много студня я наготовила. Смотри не объешься!

Утомленная разговором, она опустилась на носилки и на распросы не отвечала.

ДОМИК НА ОКРАИНЕ МОСКВЫ

На работу я приезжаю к полдевятого. Открываю ключом дверь, потом вторую, аккуратно, внимательно слежу, чтобы палец не попал в створку, потому что дверь на пружине и сажусь в коридорчике, или, как у нас говорят, в предбаннике, за свой столик. В мой дом народ собирается постепенно, я встречаю его улыбкой и небольшим разговором.

— Чего это вы сегодня так дружно? — удивляюсь я притворно. На опоздавших смотрю осуждающе, хмуро, морщусь, когда они хлопают дверью, чтобы дать им понять, что я хоть какое-нибудь, а официальное лицо и подчиняюсь лишь директору нашего учреждения. За мое время в нем сменилось три директора. Второй еще помнил, как я служила в другом качестве — руководителем группы, а третий уже не помнит, потому что просто не знает. Для него я вахтер — и только. Жаль, что не надо ночью сторожить, я бы в своем домике спала с удовольствием даже на стуле, не взирая на свои преклонные года и слабое здоровье.

Живу хотя и далеко, но меняться — чтобы работа была поближе к своему жилью, пока не хочу. Зачем лишать себя удовольствия целый час побыть в метро среди людей, иногда слу-

чается и поговорить о том, о сем, обменяться впечатлениями. Я ведь одинокая, говорить дома не с кем, а своих соседок по подъезду я не люблю. Раньше я жила с мамой, а теперь одна, поэтому на люди выезжаю с радостью, служу не из-за денег — пенсия у меня приличная, да и тратить ее не на что, — а чтобы не так скучно было.

Своих всех я знаю в лицо. Мой домик двухэтажный, маленький, притулился на старой окраине Москвы, рядом лес и речка, а из-за них выглядывает тоже Москва, но уже другая — белолицая Москва-новостройка, кажется, уже и не Москва вовсе, а светлый город-корабль плывет где-то вдали.

А мой домик — желтый, с розовыми подтеками, так что трудно узнать его настоящий цвет, бывший жилой, с лепниной на потолках — весь разбит на квартиры. Пол у него дощатый с облупившейся краской, а на лестничных клетках — кафельный. Сама лестница со старыми перилами отделана под мраморную крошку. Обои темные, скучные, с однообразным геометрическим рисунком.

Когда я начинала здесь работать, как я кляла свой домик, без которого теперь не представляю своей жизни, называла его тюрьмой — в это трудно поверить, но так было, хотя я уже ни ярости своей, ни ненависти не помню и не понимаю. А потом, слава богу, привыкла, да так сердце прикипело, что до сих пор каждый день сюда езжу.

Раньше я сидела в комнате на первом этаже с железными решетками на окнах — от воров, которые могли бы покуситься на мою документацию — единственную гордость мою и имущество. По указанию начальника я писала отчеты, отчет за отчетом, строила схемы прохождения сопроводительных документов, придумывала оценки качества продукции, выпускаемой заводами нашего министерства, хотя никакой продукции и в глаза не видела, строила схемы всю жизнь. Моими схемами и пояснениями к ним были забиты все ящики моего стола, а потом постепенно стал заполняться и единственный шкаф — и я ужасалась, ведь я знала, что нового шкафа мне не дадут, а выкидывать что-либо было нельзя, потому что все новые схемы я строила на основе старых, постоянно улучшая их и совершенствуя. Шкаф, на котором стояли два чахлах цветка я постепенно заполняла, но заполняла со страхом, боясь, что заполню его до отказа. На моем рабочем столе тоже высились груды бумаги, которые я исписала сама и не могла, не имела права выкинуть — все это я берегла для ревизий и аттестаций, чтобы всегда быть готовой предъявить свою работу, доказать, что я не даром получаю зарплату и работаю на совесть.

По секрету скажу, что из-за своего домика я и замуж не вышла, потому что понимала, что семья помешает мне полностью посвятить себя своим схемам и их усовершенствованию. О них думала я вечерами, а иногда ночами, особенно ночами, когда в глубоком

сне приходила свежая мысль, которая помогала мне доводить до блеска очередную схему.

Я уже сказала, что была руководителем группы, но группы у меня не было. Это простой мой начальник, довольный моей работой, постоянно повышал меня в окладе и в должности и довел до руководителя группы с тем, чтобы у меня была неплохая пенсия.

Назвать моего начальника дармоедом или лентяем не было никаких оснований. Ведь это он ездил в министерство, привозил мне новые технические задания на новые схемы, а потом, покуривая сигареткой, тщательно изучал мою работу, отбирал самую удачную схему и прятал в свой стол, отчего его стол, более новый, чем мой — желтый и покрытый лаком, тоже постепенно набивался до отказа. Иногда он кому-то передавал мои схемы, кажется, программистам, а потом они снова возвращались ко мне на улучшение и доработку. Они возвращались ко мне изрядно помятыми и потертыми, с загнутыми уголками. Кто их листал, тер и мял, я понятия не имею, поэтому я пренебрегалась ненавистью и неприязнью к этим чужим, таким грубым и бесцеремонным людям, величаемым программистами, которые, как напыщено выражался начальник, воплощали мои идеи на электронно-вычислительных машинах, «ЭВМ, — говорил он гордо, — ЭВМ третьего поколения».

Вы думаете, что я так сразу и полюбила эти схемы, сразу ни с того, ни с сего прикипела к ним душой?! Вовсе нет.

Я попала в этот отдел случайно на тридцать третьем году жизни. До этого я бегала с работы на работу, писала научные статьи, занималась в театральной студии, читала прорву книг по искусству и литературе. Сначала блестящее будущее мне прочили академики, потом учителя, потом одна только я. Я обивала пороги академиков и министерских тузов, неловкая, стыдящаяся своих неумеренных способностей и неисполнимых желаний, и постоянно получала отказы. Наконец, совершенно случайно, уже не надеясь на успех, я нашла работу в моем домике, где мой начальник узнал меня и оценил, и в котором я работаю по сей день. Руководство наше располагалось в громадном, солидном здании в центре Москвы, о котором я даже и не знаю по сей пору, как оно выглядит, а рядовые работники были разбросаны по разным углам и подвалам на окраинах. Так я и попала в свой домик, который собирались сносить еще лет пятьдесят тому назад.

Попав сюда в первый раз, я считала, что никогда не останусь здесь на всю жизнь. В то время я еще не чуралась мужчин, и мой тогдашний любовник, человек смелый и решительный, обещал мне помочь с работой, чтобы я развернулась во всем своем блеске и писала бы научные монографии, заполняя ими колоссальные архивы Академии наук. А потом любовник как-то растворился, исчез, и я уже не жалела о нем, потому что мной завладели мои схемы и маленький, но вместительный шкаф, который стоял в моей рабочей комнате. Пусть мой шкафчик — это не огромные

шкафы Академии наук, пусть мои схемы и отчеты не выходят десятитысячными тиражами и прячутся за картонной обложкой скоросшивателя, а не одеваются в тугие, щеголеватые зеленые и красные типографские переплеты, пусть мои схемы кроме моего начальника и каких-то там программистов никто не видит, все равно я воплощаю в них свои идеи, и, пока цела бумага, на которой они начерчены, они продолжают свою и мою жизнь, а когда бумага сгорит — ведь придется когда-нибудь освободить шкаф — другого, как сказал начальник, мне не выпишут, то я все же думаю, что схемы останутся жить в каком-то ином измерении, в каком-то другом мире.

Я так любила их. Самые красивые и элегантные я откладывала в сторону, а потом вычерчивала их тушью на ватмане и вешала на стену, и жирная тушь так славно блестела на солнце. И тогда, в хорошую минутку я давала отдых своим утомленным глазам, выключала электрический свет и любовалась солнечными бликами, играющими на зеленом дермантине моего стола.

Но неудачи постепенно стали преследовать меня. Под моим единственным окном откуда-то появился куст сирени, который из года в год постепенно разрастался и заслонял солнечный свет, вернее, обильно поглощал солнечную энергию, предназначенную для меня и ни за что не хотел делиться поровну, по справедливости.

И вот, когда сиреневый куст полностью заслонил мне день, внезапно умер мой начальник. Он был, действительно, славным человеком, неторопливым, вежливым, снисходительным. Он связывал меня с миром, с высоким руководством из министерства, с программистами, он единственный знал толк в моих схемах, единственный, кто мог оценить мою работу по достоинству. А шкаф был полон моими отчетами до отказа, сиреневый куст совершенно затенил окно — в моей комнате мне делать было больше нечего. Я не выдержала, поняла, что обстоятельства осилили меня, бороться не имеет смысла — и ушла на пенсию.

Провела немного времени в своей опостылевшей квартире и стала скучать по своему обшарпанному старому домику на окраине Москвы. Я пересилила себя, сломала свою гордость и решила во что бы то ни стало вернуться в свой домик хотя бы и в новом качестве. И я устроилась на работу вахтершей. Я долго страшилась зайти в бывшую свою комнату, но когда вошла, то сразу почувствовала громадное облегчение. Новые сотрудники, приятные и энергичные люди, вырубили сиреневый куст под окном, который отравил мне последние годы жизни в отделе, выкорчевали его и комната стала светлее. Потом они полностью очистили шкаф и столы от моей документации, сдав ее частично в архив, а частично и в макулатуру, и выбили себе целых два новеньких вместительных шкафа. Перед ними был непочатый край работы, и они с такой энергией стали заполнять шкафы своими отчетами, что я в душе немного испугалась за них и подумала, что их

творческая биография может оборваться значительно быстрее, чем моя.

А что? — пусть творят! Может быть, они добились у начальства разрешения очищать шкафы сразу же после их заполнения и начинать заново. Я старалась об этом не думать — уж очень мне стало горько. Если бы был жив мой начальник, он бы тоже обязательно добился такого разрешения, и мне не пришлось бы уходить на пенсию.

Но все же я счастлива тем, что осталась при домике. Я чувствую его пульс, его дыхание, в нем по-прежнему пишутся отчеты и заполняются столы и шкафы. Домик, правда, за последнее время очень обветшал, стала протекать крыша, но все же мне кажется, что пока в нем шелестят бумаги, с ним, а, следовательно, и со мной, ничего страшного не случится.

АМПУТАЦИЯ

Он чувствовал себя несколько напряженно. Собственно, он был уверен, что все в порядке, документы — он знал точно — были все, какие требуются, непросроченные, с положенным количеством печатей, и все же, как всегда перед любой официальной процедурой, перед любым человеком в форме, он по привычке, чуть не инстинктивно, чувствовал свое ничтожество. Недаром же он был биолог. Недаром занимался поведением, да не просто поведением вообще, а поведением особи в коллективе... Нет, конечно нет, не в коллективе — поймал он сам себя на этой обмолвке — а, разумеется, в стаде, или в стае, или... в косяке, в табуне, в колонии или как там еще...

Он сидел и нервно теребил паспорт — единственный документ, оставшийся еще у него в руках, остальные уже поступили на «рассмотрение» — этот же подлежало вручать лично, и он не выпускал его из рук, как последнюю соломинку — опять же по извечной привычке к страху остаться без единой опоры — а он всегда чувствовал себя именно так в те редкие минуты, когда приходилось вручать паспорт тому или иному чиновному лицу и с трепетом ждать, откуда тот зауценными медлительными движениями провернет положенные страницы и как бы с сожалением отдаст в потные и холодеющие руки.

Впрочем, ТАМ все было гораздо проще. Поначалу, правда, ТАМ он боялся гораздо больше, он все ждал чего-то непредвиденного и «возможных провокаций» — как его очень серьезно предупредили перед выездом — и он с ужасом готовился быть каким-то образом подмятым и раздавленным этой жуткой и, главное, совсем неведомой системой, и самое страшное — вернуться обратно — куда? — и как знать — поверят ли, простят, да и захотят ли слушать? И он взвинчивал себя, особенно по ночам, в незнакомом отеле, в чужом городе — в страшной, чужой, неведомой загранице — пока не осознал, но не привык! — как ясно понял теперь — всей легкомысленной развязности и даже более того, какой-то неосознаваемой безответственности всей этой нации — а сюда он включал всех по ту сторону границы — и с тех пор предъявлял документы со спокойным достоинством, как и подобает — кому? — он и сам затруднился бы ответить.

И вот впервые вернулось привычное с детства чувство, а с

ним и все прежнее. Он даже чувствовал, как входит в него с запахом таможенной канцелярии, запахом старой бумаги и пыли, чувство возвращения на родину.

Нет, конечно, он всегда об этом помнил, даже там, в лесу, где, казалось, можно забыть вообще обо всем, он помнил об этом каждый день, нет, он помнил об этом каждый миг, даже когда ни о чем не думал, но тогда это было по-другому, не как теперь, когда вот оно происходит — сейчас кончат возню, нет... проверку, — вот, — подумал он, — оказывается как они на меня повлияли, эти беспечные французы, — несмотря на то, что он прожил с ними бок о бок шесть лет, да еще в таком месте, где не было больше никого на тысячи километров, он всегда про себя именовал их всех собирательно — французы, даже когда имел ввиду одного, потому что никогда не мог объединить себя с ними, а всегда противопоставлял — себя и их.

Вряд ли они знали об этом. Слишком уж были дружелюбны. И легкомысленны. Это слово он тоже всегда связывал с ними. Он даже успел их полюбить. Но... Но он ведь всегда помнил, что вернется... И, значит, он и они всегда и во всем были разделены.

Что-то долго его не вызывали. Он бесцельно открывал и закрывал паспорт — не настоящий, чужой, «заграничный». Здесь ему выдадут настоящий. Тот, с которым он прожил всю жизнь. Даже теперь он помнил серию и номер 24 6518-У-214 17. Он сам этого не ожидал. Все-таки шесть лет...

И вызов пришел так неожиданно. Ему оставалось еще четыре года — почти четыре — когда прилетел привычный вертолет с привычными продуктами и прочими вещами, которые они заказывали каждый раз к следующему рейсу — странно, французы его всегда так ждали и всегда радовались еле слышному издалека шуму мотора, бестолково и весело болтали с пилотом — он никогда не ждал. Это его не касалось. Он всегда отходил в сторону и просто наблюдал, как суетятся у вертолета, слушал взрывы смеха и быстрые обрывки разговоров — и всегда знал, что когда-то он должен вернуться. Когда же прилетел тот, последний, и пилот крикнул ему: «Эй, тебя требуют назад!» — он встал, как будто ждал именно этого, и спокойно пошел к вертолету.

Они огорчились и все говорили ему: «Да плюнь ты, оставайся, здесь работы еще лет на десять», — а он только молчал и улыбался. Тогда они закричали: «Ну хоть проводим как следует!» — вытащили бутылки и музыку и потащили его танцевать, хоть он никогда не умел и отказывался — они вообще любили веселиться — а он уже почувствовал тревогу, вернее, чувство тревоги просто обострилось — его вызывали раньше срока, значит же что-то случилось, ведь ничего не бывает просто так, и он ломал себе голову — что же могло случиться? — и так до сих пор еще не узнал, почему был этот неожиданный вызов.

В этой поездке все было неожиданно, начиная с того, что она вообще состоялась. Он никогда не думал, что его могут куда-то отправить. Впрочем, он никогда и не пытался предугадать того,

что может произойти с ним в будущем. Он привык просто подчиняться. Так он подчинился и тогда, без единого вопроса, так он подчинился и теперь, когда ему было приказано вернуться...

— Прошу вас, — раздался странно-вежливый окрик, и он, оглянувшись на всякий случай — хотя знал, что кроме него никого в приемной нету — вдруг да не к нему? — встал и покорно вошел в святая святых — пропускной пункт таможни. Первое, что поразило его взгляд, был до крайности низкий письменный стол — массивный, из хорошего дерева, закрытый как ящик, который, впрочем, стоял на возвышении, достаточном для того, чтобы стоящий перед ним не ощущал разницы высоты.

— Прошу, прошу, — ласково заговорил пропускник, указывая на вычурный стул, стоявший почему-то у стенки, так что севший на него принужден был чувствовать себя крайне неловко, оттого что не мог облокотить руки на тот же странный стол, а был бы вынужден, отдав последний документ, маяться, не зная, куда же их теперь девать.

Вошедший, однако же, тут же покорился и, пока оставалась последняя возможность, принялся опять вертеть и теревить свой паспорт, и так уже изрядно потрепанный. Лицо свое, весьма загорелое, но худое и болезненное, он услужливо поднял к пропускнику.

— Я посмотрел ваши бумаги, — продолжал тот все так же ласково. — Что ж, здесь нет сомнений. Но, знаете ли, формальности... несколько вопросов, нужно заполнить еще кое-какие документы...

— Да-да, конечно, — с готовностью отозвался проверяемый и как-то весь изогнулся на стуле.

— Вы ведь шесть лет ездили?

— Да, шесть, почти шесть... Там указано...

— Да, я видел. Ну хорошо. Меня сейчас интересуют некоторые данные... У вас родственники за границей есть?

— Нет.

— Так, хорошо. А здесь? Дальние нас тоже интересуют.

— Нет, знаете ли... — он нервно заерзал. — Видите ли, я ведь... Да ведь у меня год рождения...

— Ах да, как же это я... — таможенник тоже как-то нервно схватился за бумаги. — Как же это я... Так ведь я тоже, — буркнул он совсем уже невпопад. — И детей, стало быть, тоже нет. Выходит, мы с вами товарищи по... — он вдруг испуганно осекся, оглянулся и быстро сменил тон. — Скажите, а вы все эти годы поддерживали с кем-нибудь переписку, получали известия?

— Нет, я не получал... не переписывался. Да там ведь и большие трудности с перепиской, — добавил он, вдруг мягко и широко улыбнувшись. — Вертолет раз в месяц, французский...

— Так-так, понимаю. Это вы в каком-то смысле правильно поступили. Доверяй, но проверяй, как говорится. Так-так. Значит известий отсюда не имели... У меня к вам еще несколько вопросов. Дело в том, что... Как вам страна-то, понравилась? — этот вопрос

был как будто бы даже несколько неожиданным для обеих сторон, и вообще разговор принимал какой-то странный характер.

— Да видите ли, — опять так же наивно широко улыбнулся испытуемый, — я страны-то в сущности и не видел. Первую неделю я все больше в отеле сидел — мне велели не отлучаться, если поступят новые распоряжения, а потом пошла такая суета с этой подготовкой, да к тому же я языка почти не знал, сидел, занимался в свободное время, так что некогда было, ну а потом сразу в лес — на вертолете прямо на остров, ну и все. Так что я не знаю... — виновато закончил он.

— Понятно, — проговорил таможенник и опять переложил какие-то бумаги. — А что, газеты вы там получали?

— Только бранцузские. Да я их не читал. Я и раньше-то редко когда читал, а там и совсем отвык. Да и некогда было. Обезьяны.

— Что?

— Ну, мы ведь там обезьянами занимались.

— Ах да! Я сразу не понял. Значит, не получали... Скажите, вы состоите членом Лиги?

Он, как-то расслабившийся от этой совсем неофициальной беседы, вдруг сразу же испугался и, виноватым и просящим взглядом сопровождая свои слова, произнес чуть не заикаясь:

— Я... только рядовым всеобщим членом... — и заметил, как чиновник инстинктивно проглотил вопрос, и он понял какой — как же тебя тогда выпустили? — и одними глазами ответил: не знаю. Пропускник как-то неуверенно на него посмотрел и, как бы вдруг решившись, произнес:

— Дело в том, что за время вашего отсутствия был принят Новый Курс, я вижу вы не осведомлены об этом, я должен вас ознакомить... — продолжал он торжественно как диктор. — Прошу вас отнестись с должным вниманием. Учитывая политическую и экономическую структуру настоящего момента и имея твердую научно обоснованную и теоретически разработанную программу на будущее ввиду быстрейшего и исторически неизбежного претворения в жизнь принципов нового, единственно гуманного социального строя, развитие и углубление которого под руководством Лиги ведет весь наш народ, в нашей стране принят Новый Курс, первым этапом которого является всеобщая ампутация нижних конечностей для достижения полной гармонии личности и труда в целях всемерного укрепления экономической и оборонной мощи нашего государства...

Тот, для кого предназначалась вся эта тирада, сидел с окаменевшим лицом, приоткрыв рот, поджав под стул ноги, не шелохнувшись — и не мог осознать. Таможенник же, вдруг как бы поняв состояние слушателя и снисходя к нему, понизил тон своей речи и заговорил уже не так официально:

— Вы, может быть, немного удивлены нынешней политикой, все-таки шесть лет — немалый срок, но мы, — он впервые употре-

бил это неопределенное множественное число, — надеемся, что вы скоро войдете в колею, и все у нас с вами будет нормально.

— Простите, — прервал его слушающий, — я, извините, не совсем понял...

— Так, — протянул пропускник значительно, — вы, я вижу, действительно отвыкли. — И он опять забубнил как по бумажке: — Весь наш народ с глубоким восхищением и благодарностью приветствовал мудрую политику нашей Лиги, которая, прозорливым оком глядя в светлое будущее, непрерывно заботится о неуклонном росте благосостояния всего нашего народа и отдельной личности...

— Простите, — опять перебил слушающий, — так это что, всеобщее? — И во взгляде прочел вопрос; а когда было не всеобщее? — и понял, что бесполезно. Чиновник помолчал некоторое время, глядя в упор на посетителя, и потом сказал выразительно.

— Вам, впрочем, учитывая ваши заслуги, — какие? — подумал тот, — мы решили пойти навстречу, — сердце его дернулось и похолодело, — мы решили дать вам время на адаптацию... Понимаете, что я хочу сказать. Мы вам даем месяц, чтобы вы привыкли, осмотрелись. Через месяц вы должны явиться сами. — Он уже не прерывал его речи, а только покорно слушал.

— Я вам сейчас выпишу разрешение на месяц, в случае чего будете предъявлять. — Он порывлся в бумагах на столе. — Ах ты, кончились, — сказал он сам себе и каким-то странным движением подался назад, будто отъехал, потом с каким-то немыслимым звуком — а сознание отказывалось этому верить — нырнул вниз и вдруг выехал на маленькой тележке и направился к сейфу в углу, с грохотом открыл железную дверь и извлек оттуда какие-то типографски отпечатанные бланки. Испытуемый не отрываясь смотрел весь этот спектакль с ужасом и отвращением, которого не мог объяснить себе вполне, но чувствовал, что теперь от него не избавиться.

А тот, не обращая ни малейшего внимания на чувства клиента, спокойно подъехал к столу и стал писать в принесенной бумаге. Потом проверил написанное и протянул бланк. Посетитель бессмысленно встал и взял бумагу. Прочсть ее он не мог.

— Теперь вот что, — сказал чиновник, глядя прямо в глаза, — Ваш вид может вызвать нежелательные эмоции. Поэтому в трехдневный срок — сегодня у нас вторник? Значит к пятнице — вам нужно приобрести механическую тележку, — слушающий содрогнулся, — и придется ей пользоваться. Да вы и сами почувствуете, что так будет лучше. Вам же будет спокойнее... Надеюсь, у вас нет вопросов. Тогда все, можете быть свободны, печать поставьте у секретаря.

Тот встал и не прощаясь вышел. Он уже просто ничего не помнил. Чиновник проводил его долгим взглядом и снова стал перебирать на столе какие-то бумаги.

Он выбрался наружу. Теперь уже по эту сторону границы.

Значит, как будто бы он был уже дома. Он огляделся. Время было раннее — половина девятого. Он пошел в кассу — покупать билет на автобус. Людей он не видел — одни самолеты. Дальние казались совсем игрушечными.

Чем ближе подходил он к зданию Аэровокзала, тем яснее ощущал неизбежность шока, который ему предстояло вот-вот пережить: он знал, что увидит сейчас кургузенькие фигурки на тележках, игрушечных человечков — они будут давиться за билетами, расталкивая друг друга стальными колесами... Он машинально поднялся по лестнице и ошарашенно оглянулся назад — они-то как здесь забираются? «Не успели, — подумал он, — не успели еще,» — и остановился — следующая реплика была наготове и лучше уж было об этом не думать.

Он пошел по вокзалу. Действительно, там и сям мелькали грохочущие по каменному полу тележки, и всадники, по-обезьяньи отталкиваясь руками, ловко катили навстречу друг другу, объезжали, расходились и мчали дальше. Некоторые приспособились уместать на своих повозках и поклажу — те совсем походили на детские автомобильчики даже с прицепом, а один исхитрился проехать даже с прицепом — позади, на такой же доске с колесиками, высилась горка чемоданов, и он деловито оглядывался на нее — не рассыпалось бы...

Он даже сам себе удивлялся — почему-то все это не тронуло его так, как ожидалось, не пугало и не мерзило — щекотало немножко нервы. «Не привык,» — подумал он и запнулся. — «Не слишком ли привык?» — и с испугом оглянулся — не подслушали бы.

Зал наполнялся. Все время неразборчиво гудел громкоговорятель — объявляли, вероятно, что-то важное, судя по тому, как игрушечки встревоженно поворачивали головки — прямо к источнику звука — но сами же так гроыхали своими колесами, что невозможно было даже при всем их стремительном желании разобратъ, о чем же их все-таки собирались оповестить.

Он, разглядев наконец сквозь всю эту сутолоку нужную ему кассу, двинулся туда непомерно длинными, как ему казалось, шагами, но, к своему удивлению, отнюдь не опережая малюток, которые сновали туда и сюда с огромной скоростью, чудом избегая столкновений, визгливо бравившихся, озабоченных, словом, самым настоящим образом живых.

Окошко кассы все еще оставалось на прежнем месте, но для удобства или, что вернее, от неизбежности перед ним навалили цементную горочку с площадкой, так что коротышки легко могли достать до прилавка и выложить на него все необходимое: деньги и документы и снять оттуда билетки — зеленые и розовые — он подумал — для детей и взрослых — и ошибся, билетки давали по признаку пола. Ему достался зелененький.

Он чувствовал, как на него косятся. Чувствовал, как шепчутся за спиной. К одежде он всегда был не то что равнодушен, а как-то не выбирал, а теперь, поневоле одевшись в Париже, выглядел

для них шикарно. «Ну пусть пока думают, что я иностранец, так спокойнее,» — убеждал он себя, услышав это слово, и тут же со всей очевидностью вставал образ этого «пока» — пока что? Он страшился себе в этом признаться.

Ох какие они были сердитые, эти игрушечные автомобильчики! Они беспрестанно ссорились друг с другом, делились, боялись, что кто-то обманет всех и купит билетик первым.

— Ну-ка ты, коляска от мотоцикла, — услышал он зарождающийся скандал. — Ишь распихался! Вали отсюда, я те щас все колеса пообломаю!

— Да заткнись ты, — кричал обиженный. — Я вперед тебя на два человека, а лезешь!

— Сам ты лезешь, сволочь! Все стоят, а он лезет!

Он поспешил отойти. Да и автобус был вот-вот, не зря они так волновались.

Он опять зашагал по залу, оглядываясь и стараясь не наступить — и напрасно, это они мелькали мимо, задевая его по ногам, больно наезжая колесами, и, не оглядываясь, дальше, по своим заботам... Наконец он выбрался наружу. «Вот ведь какой муравейник,» — пробормотал он и опять испугался — не узнали бы!

Подошел автобус, обыкновенный, высокий. Он с жалостью оглядел остановку. «Как они полезут-то? — и опять ошибся. Вытягивая длинные, не по размеру руки, ловко цепляясь и подтягиваясь, все они, сколько их было, полезли в автобус, и от тут же набился до отказа... Он, великан среди лилипутов, оцепенело глядевший на эту сцену, вдруг встрепенулся и тоже бросился вдавку, уцепился и повис на подножке. Автобус фыркнул и, тяжело переваливаясь, будто удрученный невиданным бременем, тронулся с места.

Двери долго не закрывались. Мешало чье-то колесо. Водитель нудно и злобно ругался в микрофон, наконец колесо въехало, дверь захлопнулась, и сразу запахло потом, грязным бельем и горелой резиной. В том, как выглядел автобус изнутри, все-таки отразились потребности нового времени — сиденья были убраны, а с верхних поручней свешивались веревки с колечками, как в старинных трамваях, и желающие могли за них цепляться. Желающих, впрочем, было мало, теснота была такая, что валиться все равно было некуда, и веревки, раскачиваясь от толчков, стучались своим деревянными привесками, и звук этот, по известным представлениям, напоминал грохот костей.

Ехали долго, без остановок, автобус выхлял бедрами и валился, тогда поднимался крик и перебранка, долго не утихавшая, потому что снова кренился пол, увлекая всех за собою, и теперь уже сердились новые пострадавшие и кричали на прежних. И все сильнее пахло резиной.

Наконец-то приехали. Он выскочил первым, недаром же висел на подножке, за ним, как горох, посыпались остальные. Прибыли в город, на Центральную площадь. Увидев ее, он почему-то

вспомнил, как в младших классах, когда объясняли, почему она так называется, всегда говорили, что в связи с Центральным Комитетом, хотя называлась она так испокон веков, когда никакого Комитета не было и в помине. Многие, впрочем, и не знали, что было такое время, он сам долго этого не знал. Вот это-то он и вспомнил. Он поспешил уйти, потому что было ему здесь неуютно.

Он долго шел по маленьким улочкам, оглядывая дома — мало, что изменилось. Кое-где дома, правда, поносили и строили высокие строгие башни. Еще когда он не уезжал, ходили слухи, что Центр скоро закроют, но, видно, еще не успели. Впрочем, центр, как таковой, с его знаменитой старинной крепостью давно уже был закрыт, так давно, что о нем уже вообще не говорили, а все оставшееся называли центром только условно, но все равно те, кто здесь жил, боялись, что их выселят совсем на окраины, откуда уж не добраться так просто до магазинов и всего остального, и потому шептали друг дружке об этих планах и тихонько вздыхали.

Он осматривался по сторонам и увидел перед собой щит, где мальчик, так же как и остальные привязанный к тележке, чем-то вроде маленькой кочерги цеплялся за какую-то торчащую из грузовика закорючку. Надпись гласила: «Учащийся! Шалости на проезжей части приводят к дорожно транспортным происшествиям. Ты можешь нанести вред не только себе, но и всему народному хозяйству!» Он ошарашенно взглянул на этот плакат, и мысль, поразившая его, невольно облеклась в слова: «И детей тоже!» Рядом с ним никого не было, лишь поодаль, ожидая у перехода зеленого света, расположился старичок, примостивший между своими культиками авоську, полную ярких яблок. Он подошел к нему и спросил, подчиняясь порыву:

— Когда же это делают?

— Что? — не понял тот.

— Ну эту... операцию, — сказал он и покосился на яблоки. Старик в свою очередь оглядел склоненную над ним фигуру и, хмыкнув, произнес:

— Как это — когда?

— Ну когда, в каком возрасте?

— Да когда же! С самого, можно сказать, рождения, — и, дружелюбно улынувшись, старичок покатил через переход.

Он шел как в чад. Все хотелось ему поскорее впитать этот воздух и с ним, может быть, что-то неуловимое, ускользающее, не поддающееся анализу — привыкнуть хотелось, понять наконец, что вернулся. Было ведь и вдруг куда-то подевалось, будто инстинкт сработал — и отпустило, разбирайся, мол, сам как знаешь...

Мало встречалось людей — работали, а все же попадались, да и место было неподходящее — переулки. Смутно вспоминалось — здесь школа была, теперь роддом. И мелькнула дикая мысль: родятся прямо с колесиками, готовенькие. И уже чисто

профессионально, даже сам испугался — а что, нужно подумать... Помотал головой, огляделся — скверик этот он помнил, хоть маленький, пыльный, зато деревья живые, не часто увидишь — а вот характерно — скамеек не было, это верно, ни к чему теперь, и вдруг как отключилось что-то: сел прямо на заплеванную траву и между колен стал смотреть в землю...

И из этой веками топтанной земли, из которой повынули все, что могли, и набросали взамен всякой дряни да мусора, полез вдруг непричесанный тропический лес, закричали в вершинах обезьяны, солнце щедро бросило лучи на листья, те подхватили быстро, да пожадничали — и сквозь пригоршню закапало, закрипило... и вот знакомый шахматный узорчик, и по нему заструили свои ходы всякие наземные твари...

И вот выходит Анри, задумчиво почесывая голое брюхо, и как всегда что-то бормочет под нос, не разобрать, и вдруг, но уже тоже привычно, вопит чуть не в самое ухо: «*Quelle heure est il?*»

Да разве было там время?

Вот Даниэль побежала на быстрых ножках, вызванивая ладонью по пустой канистре — Анри цыкнул было на нее — уже в который раз ставил он сегодня пленку на запись — да махнул рукой, все равно ничего не запишешь, коли всякий олух будет прямо у микрофона греметь канистрой, и лениво пошел к палаткам: «*Le dinner!*» — к этой обязанности он относился свято, не зря же по сто раз на дню спрашивал время.

И потекли из чаши остальные, бородатые, загорелые, едва прикрытые линиялыми шортами, жизнь — нескончаемый праздник. Дени сердился — он опять сел на сигареты, а Даниэль хвалилась — вчера сняла жоака в фас и в профиль — вылитый Анри. Тот ухмылялся и скреб волосатое брюхо...

Резкий скрип ворвался в его сознание — надрывно кричало о помощи железо. Он увидел, что сидит на траве, и вскочил. К нему подъезжал еще один инвалид и немилосердно скрежетал своей тележкой. Это был вечный тип алкоголика и попрошайки, собирателя пустых бутылок. В кепке, с черными провалами меж желтых прокуренных зубов, с редкой щетиной, вонючий, он лихо подкатил тому прямо под ноги и, хитровато заглядывая снизу и помогая себе жестами, сипло спросил:

— Закурить-то не будет у вас?

Он судорожно забегал по карманам. Нет, обычно он не курил, случалось в лесу иногда, оттуда привез, как сувенир, эту малюсенькую привычку, и теперь, знал, болталась где-то нелегальная пачка, и беспомощно ловил ее по всем закоулкам пиджака — вот она! — и протянул забуддыжке. Тот, с уважением взглянув на хозяина, уцепился грязными пальцами за белоснежную коробочку, та затрепетала вся от прикосновения, судорожно захлебываясь крышкой, кривой заскорузлый палец, отороченный черной каемкой, отколупнул наконец-то одну, золотом опоясанную красоточку, привычно размял ей тугую форму — ах, не ожидала такого бедняж-

ка! — и с некоторым даже изяществом воткнул меж облупленных, обсиженных лихорадками губ, и проситель прогудел хрипло: «Огоньку бы...» — и на этот раз комментируя свои слова весьма недвусмысленными движениями.

Сама юркнула в руку оранжевая зажигалка — высунула язычок, попробовала на вкус сигарету и захлопнулась — довольно. Та, кокетливо помедлив, подмигнула ярким глазком и заструилась вверх, в небо.

Забулдыжка удовлетворенно крикнул, прикрыл глаза и вдруг, катнувшись слегка назад, галантно протянул: «мерси».

Уж чего он не ожидал, так этого. Здесь, какой-то пьяница уличный, из звуков этого языка... и сложит вдруг невозможный пароль, здесь непроницаемый, незаконный, опасный — он смотрел на него чуть не с ужасом. А тот не торопился, получал удовольствие. Жмурясь, отхаркиваясь, качаясь взад-вперед на своей тележке, которая немилосердно при этом скрипела, он откровенно наслаждался, только трудно было понять чем — то ли курением, то ли мимолетным своим знакомством с заграничным типом. Ему хотелось, видно, поговорить, но он уже истощил все свое знание иностранных языков и потому ухмылялся только и лукаво подмигивал.

— Может, еще дадите? — просипел он просительно, с сожалением бросив домусоленный до последнего предела окурочек.

— Да, пожалуйста, — услужливо протянул он пачку, и процедура началась снова. Тот, обнаружив, что иностранец может и по-нашему, оживился и, решив быть светским до конца, вежливо, сколь это было возможным при всех его небогатых данных, осведомился:

— Ну, как вам у нас здесь нравится?

— Как это — нравится? — не понял тот.

— Ну вообще... все. Ну город... этот... вокзал, — добавил он поразмыслив.

— Да ведь я здесь всю жизнь живу, — удивился тот.

Попрошайка ошалело воззрился на него, потом опустил глаза на ноги, опять поднял вверх — и не поверил.

— Это как же?

Он прикусил язык. Вот надо же! Как-то теперь выкручиваться?

— Да, — твердо повторил он. — Здесь.

— Ну, — удивился тот. — Другие порядки, значит, пошли?

— Нет, — испуганно забормотал он. — Да нет, как же... Не в этом дело...

— Ну, мое дело сторона, — заговорил неумный попрошайка, — любопытно только все же...

Он беспомощно оглянулся.

— Надо бы того... чик-чик...

— Что?

— Ну, говорю, порядок, вроде, известный...

— А... Может быть, не знаю... — лепетал он, пытаясь что-

нибудь придумать вразумительное. — Мне срок дали. Вот что! — выдохнул он облегченно.

— Понятное дело, — прохрипел тот важно, хоть и не понимал, наверное, ничего.

— Я вернулся недавно... Мне разрешили.

— Понимаем, — кивал он головой и, помолчав, добавил: — А потом, значит, того?

— Послушайте, решил я он вдруг, — скажите, как это все происходит? Мне нужно... Как?

— Как происходит? — обрадовался бродяга. — А чего ж, дело-то нехитрое. Повесточку, значит, пришлют, в такой-то день, в такой-то час явиться туда, мол, и туда-то. И все. Там уж дело свое знают, ни забот тебе, ни хлопот — пришел, повестку отдал и милости просим... Это у них быстро, не новые пришивать, — хохотнул он. — Ну, месяц потом дают на отлежку, и все, давай в строй, раз-два...

— И что... шли? — безнадежно спросил он.

— А то! Шли, конечно, куда денешься? Иные аж плакали, особенно бабы, а все шли. А то один вот, я знаю, повесился. Недалеко тут жил, в пятнадцатом. Тихий, вроде, был, приличный, да теперь все тихие, — опять хохотнул он. — Так я чего говорю, взял да сам себя и порешил. Ну, известное дело, понаехали, дело заводили, еще, спасибо, один жил, а то... Лекцию нам потом читали, лектор, вишь ты, специально приезжал, чего говорил — не знаю, а всех погнали. А только я не пошел...

— Почему? — он слушал как завороченный, — Почему?

— Почему? А мне что, мое дело сторона. Я ведь еще да-авно, почитай, лет семнадцать будет... под электричку! Слышь ты, сам попал, сам! Во как! — и он, захохотав как безумный, круто развернулся и быстро покатил по дорожке, оставляя за собой неровный двоящийся след.

На душе у него было смутно. Чего он только ни думал, идучи один по улицам, и все яснее вырисовывался ему облик завтрашнего дня, и все сильнее хотелось забыться. Еще одна беда была у него. Как-то за всю жизнь не случилось ему обзавестись друзьями или хоть теми знакомцами, к которым можно явиться со смятенной душой и в ночной час за неизбежной бутылкой не в прямую, конечно, а так, обиняком, заговорить невзначай о нескладном житье, о проклятой бессоннице, повздыхать вместе, глядишь — и отойдет...

Но не было у него таких знакомцев. Не то чтобы он старательно избегал привязанностей, а вот не случилось. Да и то сказать, человек он был нелюдимый, да и женщины его не интересовали — вот тут уж он был совсем никуда. Хоть в силу профессиональной своей принадлежности он и понимал, для каких причин распорядилась природа разделить человеческие существа на два пола, но все это только теоретически, так сказать, кабинетно — самому же во всей этой возне участвовать было ему не

дано — да винить тут следовало не природу. А попал он под один такой указец, крепко же, впрочем, обоснованный научными выкладками, и хоть потом вскорости решено было о том времени не вспоминать — как ни крути, а и демография имеет свои законы, не всегда человеческим хотениям подвластные — его уже успели исключить из возможных носителей генофонда. Он, однако, никогда об этом не думал, принимая все, что бы с ним ни происходило, за неизбежную данность, ибо характера был покладистого.

Куда же он теперь направлялся? Шел он теперь на бывшую свою квартиру — хоть и томило его подозрение, что за давностью лет его владение ею, так сказать, упразднено, и что проживает там ныне новый какой-нибудь бедолага — а все же пойти ему больше было некуда. Да и, кстати, совсем было недалеко — за угол и до конца, а там уже и видно.

Он шел, механически перебирая ногами, а все-таки следя уголком сознания — как он так ловко переставляет ноги, хочет — быстрее, хочет — тише, вот задержал на секунду — и остановилась в полете, замерла одна, пружинно напряглась другая, идеальный шарнир, тончайшая механика, нежно затрепетала голень, передавая дрожь ступне, с достоинством сосредоточилось бедро — ах эти тоненькие нити мышц, любовно опреленные нервами — и все это... да нет же, не может быть... только не меня... не надо...

И вот он дом, блочный, одноликий, словно наглядное пособие — параллелипипед, а ведь и в нем, должно быть, живут свои страсти — вот машут с балкона ангельские крылья простынь, и меж них конфузливо-беззастенчиво ветром надулись розовые дамские панталоны — которых, ах, нигде-то больше и не увидишь, кроме как здесь... А вот какой-то бунтарь-вольнодумец дрожащей от волнения рукой ярко-зеленым цветом вклеил свою решетку в серое пространство стены — как косятся на нее охристо-ржавые соседки — и поделом, знал, на что шел...

Он поднялся, вежливенько тренькнул у двери — безответно. Постоял, потоптался, снова ковырнул звонок — та же история. Тогда суетливо, перекладывая портфель из руки в руку /чемодан ждал пока на вокзале/, нашел-таки ключ и сунул в замок — отворился! Он шагнул через порог, пошарил свет — пыльно, душно — затхлый колорит пустой квартиры, но понял сразу: пока что живет он здесь.

В кухне на столе ждала его бумага — и как же знали они человеческую психологию, что непременно первым делом на кухню! Вот что было там написано:

«Не позднее 12 августа вам следует явиться в Местное Отделение для Полной Обработки согласно Постановлению БП-337-ж, при себе иметь повестку и паспорт».

Он похолодел. Значит, ему напоминали, что срок ему давался месяц.

Подержав листок в руке, заглянув в него с изнанки — но она была нетронута — он снова опустил его на прежнее место и принялся открывать форточки — всего-то две — в кухне и комнате,

но за что бы ни брался, все скашивал невольно глаза на проклятое место, потом не выдержал, подбежал, сунул в кухонный шкафчик, откинулся, поглядел — ладно, с глаз долой из сердца вон.

Тут вспомнил, что не обедал. По привычке рванулся было к холодильнику — сообразил, на полшаге остановился, и тут уж по-настоящему захотелось есть.

Он присел на подоконник, скинул пиджак на стол, поискал руками сигаретную пачку, оглядел ее нерешительно, закурил и тут же забыл об этом. Глаза привычно обегали вокруг забытым маршрутом, здоровались с трещинками на облупившейся краске, с вечным отеком на потолке, он расслаблялся, вживался — и понял: хотел бы запереться здесь один и навсегда, чтоб никто не вошел — логово свое — и тут же вспомнил — листочек! Опять сунулся в шкафчик, перечитал, положил на место. Встал, надел пиджак — решил выйти все-таки за провизией.

Вечер наступил душный. Собиралась гроза. На асфальте под редкими деревьями закатывали истерику воробьи. Не задумываясь, по рефлексу, он прошел известным путем до роскошного, как всегда казалось, гастронома — и поразился его убожеству. «Отвык...» — подумалось ему. — «И когда успел? Там и в магазинах-то почти не бывал...»

Народ страшно толпился, как давеча на вокзале. Кассы чуть не по колено, лоточки низенькие, хоть на корточки становись. Смотрели на него почти что с ужасом. Он поеживался под их взглядами, крепился. Выбрал себе с недоумением какую-то тусклую коробку, кажется, вермишели, хлеб и сырок в серебристой бумажке. Встал в очередь и задумался.

— Пробивайте же! — оглянулся: на кого это так кричат? — и спохватился. Судорожно терзая кошелек, зацепил первые попавшиеся монеты, высыпал — и как на грех — оказалось две непохожих, с чужим рисунком — растерялся, стал хватать обратно, высыпалось все — и слышал в спину себе:

— Вот ведь носит тоже нелегкая! И чего им здесь нужно? Сидели бы в своей загранице, нет, им, вишь, тоже надо! — всего не разобрал, обернулся и заговорил жалобно:

— Да нет же, я здесь... я свой... Вы не думайте... — и залспетал уж вовсе несуразное. Толпе это не понравилось.

— Ишь ты, свой нашелся! Знаем мы таких своих, видали — не перевидали.

— А по радио — слышали? — один тоже — листовки разбрасывал!

Он беспомощно оглядывался, искал поддержки, Лица были тупые и злобные. Угрожающе надвигались тележки.

— Может, в милицию? Пусть-ка узнают, кто он такой и чего ему тут надо, а то ишь какой шустрый! Знаем мы таких-то, свой нашелся!

— Вот страсть-то! — совсем где-то у него из-под ног завопила какая-то старушонка, замотанная в грязные тряпки, но лихо под-

боченившаяся на своей коляске. — Не хочет жить по-людски, как все! У, кобель двуногий!

Невнятно гудела толпа. Мог бы он, конечно, шагнуть через все это оцепление, выбрался бы как-нибудь и сбежал... Мог, да не мог. Вот и ждал как затравленный зверь, что они сами порешат с ним делать. А им решать-то было недолго. Хоть и толпились они бестолково и галдели, а все же нашелся, видно, доброволец, и вот уже подкатывал, одним взглядом расчищая дорогу, дородный страж в голубоватом мундире. Толпа приветствовала его тихим одобрением. Он, впрочем, их за это не уважил.

— Чего собрались, ну-ка расходитесь! — скомандовал он. — Нечего вам здесь делать. Быстро, быстро! — накатывал он на них угрожающе.

И сразу сникло воодушевление, поскромнее попятились назад, а побойчее, хоть и пытались объяснить ситуацию, но уже без прежней страсти.

— Ясно, ясно, разберемся, — значительно говорил ревнитель закона, и не успокоился, покуда не разогнал всех. Тогда приступил к нему, как охотник, разогнавший шавок от медведя, и промолвил:

— А вы пройдемте со мной.

Он с покорностью повиновался.

Он шел, с тоской поглядывая по сторонам, и думал: что то теперь будет?

А ничего особенного-то и не было. Как только он протянул им свое разрешение, они жадно схватились и перечитали чуть не три раза и тут же, взяв другой тон, объяснили, что они, де, здесь не при чем, и, мол, таков уж порядок, он сам понимает, и все очень хорошо, он может быть свободен, а только желательно, чтобы он все-таки поскорее проходил положенную обработку, а то как-то, знаете ли, неудобно получается...

Он ошалело схватил свою бумажку и поскорее побежал домой. Он хотел спрятаться.

Всю ночь грохотала гроза. А он, несмотря ни на что, витал в своих грезах. И снился ему лес, где по листьям блуждало солнце, чудный волшебный лес, где все было так просто и так бездумно легко. Одно удивляло его во сне, что и здесь приходилось им ездить на этих тележках — и чудно же они на них катались — как на санках, раз — и с обрыва вниз. Дух замирал, когда с грохотом бились колеса о камни, вливая в сон отзвук бушующей за окнами непогоды, вихрем взрывая песок, но плавно замедляя бег, тележка мягко подкатывала к воде, и, оглядываясь наверх, он видел хохочущие лица, и Даниэль кричала: «Très bien!»

Вот от каких снов он очнулся, и хоть привык всегда вставать сразу, не встал, а валялся еще чуть не с час и вспоминал, вспоминал, вспоминал...

А потом вскочил, как ошпаренный — вспомнил, было у него сегодня дело. Быстро собрался и пошел и денег прихватил побольше.

Постовой долго и обстоятельно объяснял ему, как проехать. он мялся с ноги на ногу, поняв все с первого раза. Хоть и на окраине, а в этих местах он раньше бывал, а приходилось без конца кивать головой и повторять «да-да». Наконец тот поверил, что втолковал, и уgomонился. Он долго благодарил и чуть не кланялся. Постовой махнул рукой — отпустил.

Он кое-как, с автобуса на автобус добрался до указанного места — остановка и правда была у самого входа — и решительно направился внутрь. В магазине царил полумрак. Он был девственно пуст.

— Простите, — обратился он к молоденькой, но увядшей не по летам продавщице, ловко бегавшей пилочкой по кончикам длинных выхоленных ногтей. Она подняла глаза, но не удивилась, сюда, видно, заглядывали всякие покупатели. — Простите, вот я хотел бы тележку.

— Нету, — бойко ответила она, и пилочка засверкала еще быстрее.

— Простите? — не понял он.

— Нету, нету, — рассердилась она, — не понимаете что ли? Он совсем растерялся.

— Но мне сказали... Не позже, чем завтра...

— Не знаю, — сказала продавщица. — У меня ничего нету.

— А еще есть магазины? — Она задумчиво глянула на него, пилочка на секунду остановилась... и она отрицательно махнула головой.

— А что же мне делать? — спросил он бессмысленно. Пилка гуляла вовсю.

— А я причем? — возразила она уже не глядя.

— Но что же мне делать? — она больше даже не отвечала.

— А будут когда? — взмолился он.

— Ну вы даете! — фыркнула она. — Да откуда я знаю? До конца месяца не будет, — прибавила она подумав.

— Спасибо, — глухо сказал он и вышел.

Вышел, а куда пойти, не знал. Побрел было куда-то в сторону, остановился, подумал, вернулся на остановку. И тут как озабрило — он ведь на работу не ходит. Как же, почему? Как же это вот так могло выпасть у него из головы? Тут он даже обрадовался — значит вот какое дело ему теперь предстояло — в институт, отчитаться, а там-то уж ему все объяснят, что к чему, и что он теперь должен делать. Он понуждал себя в это поверить. Еще раз вздохнул с облегчением и подумал: «Не беда, что не купил, я же ездил. И всегда можно проверить, что их нет в продаже. Не посадят же меня за это».

Так он себя успокаивал, когда подошел к Институту. И тут же сообразил — напрасно приехал. По средам отдел кадров не работает. Постоял, потоптался, пошел обратно. «Успеется», — подумал он. Его настроения странно менялись. «В конце концов я ведь только что вернулся», — и сам удивился нелепости своего объяснения.

Следующие два дня он провалился с аллергией, не вызывая врача, хоть приступ был жестокий. Временами он даже терял сознание, но боялся — а вдруг приедут и увезут, и сразу на стол. Нет, он боялся белых халатов и их блестящих холодных скальпелей. Он готов был терпеть что угодно, лишь бы не это... И с натугой дышал, втягивая жесткий воздух, сотрясаясь от сухого мучительного кашля, пытаясь избавиться от ощущения, будто какой-то гнусный шутник запихнул ему в легкие большую пыльную подушку...

В субботу пришло облегчение. Легкие, словно пробив стену, задышали, наконец, по-настоящему. Он встал, взбодрился, зашагал по комнате, удивляясь и наслаждаясь одновременно своим состоянием... Подумал-подумал и решил развлечься, точнее, не то, чтобы развлечься, а и тут разузнать, разведать, что к чему, подготовиться. Короче, он решил отправиться в кино.

Отстоял долгую очередь, пугливо озираясь, ссутулился в три погибели в малюсенькое окошечко над самым полом и получил только на завтра — остальное было раскуплено.

Пожав плечами, видно, хотел подбодриться, он неловко, бочком, вытиснулся наружу и опять пошел мерить шагами пространство — размеченную тротуарами плоскость. Ему и ходить-то здесь, у всех на виду, было тяжело, но и сидеть взаперти чем-то страшило, будто этим своим сидением он как-то отъединяется, не участвует... Нет, это не годилось.

День был выходной, субботний. Как положено: отдыхали. Мельком видел уже кой-где веселеньких, впрочем, не буйных, гуляли с толком. Женщины, дурно раскрашенные дешевой помадой, отдающие чем-то приторно сладким, одеколонным, яркими пятнами пестрели меж строже и однообразнее одетых мужчин. Лихо катились парочки, ухитрялись даже обняться и, благо попадались и горки, ворковали на плавном ходу, дамочки кокетливо жмурились.

Парни помоложе, сбившись кучками, зубоскалили на прохожих, предпочитая особ противоположного пола, и между бутылками пива составляли приятные знакомства.

— Во гляди, юзом пошла! — завопил один такой ловелас, упиваясь зрелищем неудачного поворота, допущенного яркой блондинкой с несколько тяжело и грубовато слеplенным лицом.

— Закрой ворота, а то поедешь у меня колесами вверх, — отпарировала та без робости и, проезжая мимо, заметила: — Ишь, дурак несмазанный!

— Ты на этот счет не беспокойся, — говорил тот с дружелюбной наглостью на лице. — Где чего смазать — это я всегда успею. Ты лучше об себе побеспокойся, как бы тебе чего не надо не смазали...

Он быстро зашагал прочь, ужасаясь в душе. Нет, этого он не хотел. Он ждал, вероятно, что они страдают, мечутся, не зная как жить, волоча под собою свой страшный крест со стоном и ненавистью — нет, они привыкли. Они даже слишком привыкли,

казалось, действительно, они давно этого ждали и наконец дождались — когда их укоротили на треть, и теперь без помех и лишних хлопот решают свои нехитрые житейские заботы. Его это пугало.

Вернувшись домой, он нашел у себя в ящике письмо — он не поверил — *Par avion*, прямо оттуда — как сумасшедший взбежал наверх, заперся и жадно прочел.

Они спрашивали, как дела, сможет ли он вернуться, писали, что у них все отлично, обезьяны вытворяют такие штуки, что он им ни за что не поверит, пусть лучше приезжает — сам увидит, можно будет даже опровергнуть кое-какие теории, что они, если надо, пошлют на него вызов, что они будут рады встретиться с ним снова, и что если теперь не выйдет, пусть приезжает, когда сможет, а если нет, тогда кто-нибудь из них наверно придет с ним повидаться, не теперь, конечно, а когда они выберутся, наконец, из леса, теперь недолго осталось, скорее всего в ближайшее время они переедут обрабатывать материал в лаборатории.

У него дух захватило. Он с трудом мог в это поверить. Как оно пришло? Откуда у них его адрес? Неужели они все еще его помнят? И как вообще к нему могло дойти это письмо!

Он с жадностью перечитал все сызнова и, пожалуй, поразился еще больше. Мысли путались и разбегались. Запустив одну руку в волосы, другой же нервно тиская листок, он сидел, охмелев, будто хваченный обухом, и плыли перед глазами картины...

Долго сидел он так, пока не очухался, потом вскочил и забежал по комнате, пытаясь в никчемную свою суетливость выплеснуть что-то шумно накопившее внутри.

Так бегал он бессмысленно по своей комнатухе, хватаясь руками то за стулья, то за голову, готовую разлететься на миллион осколков, пустую, как порожняя склянка, гудящую, безумную.

Потом рухнул на диван и долго лежал без движения. Письмо, смятое и измусоленное, валялось рядом...

Хоть и не было у него теперь никакого желания никуда отправляться — но билет-то был уже куплен — пришлось пойти. Странное местечко представлял собой этот зрительный зал: ни одного сиденья, пустые стены, жиденькие лампы по периметру — жалковатая картина. Он приткнулся в уголок, подпирая стену, застыл неподвижно, страшно жалея о своей опрометчивости — и зачем-то его сюда понесло?

Но вот что было любопытно: фильм показывали все про тех же колясочников! Разумеется, чего же было ожидать другого, про них, конечно про них, про кого же еще, если все теперь, весь мир — это были они и только они — как, по какому недомыслию он об этом не догадался? Но дико было видеть героиню инвалидку, окруженную притязаниями молодцеватых калек.

События развивались бурно. В борьбе со стихиями мужал механизированный герой, со скромным достоинством готовила улоно для законного соития героиня, памятуя, впрочем, что долг прежде всего, и в первую голову переживая заботы не личные, но обще-

ственные. Пафос гремел бравурной музыкой, лирические сцены волоклись нежным туманом — жанр не подводил: порок сурово наказывался, и в финале заслуженно торжествовала добродетель. Чем-чем, а новизною фабула не блистала.

Хоть и не был он охотником до развлечений, но уж если выпало, он добросовестно, как губка, впитывал внутрь, без анализа, не задумываясь, чтобы потом так же легко расстаться с ненужным балластом, но ту неожиданно заскучал, замаялся, потоптался на месте — и то уж порядком постоял, все ж не сидя! — и не дожидаясь конца сеанса, пошел к выходу, спотыкаясь о зрителей, наугад к зелененьким огоньком освещающей дверце.

Пожмурившись от солнца, постоял, греясь после сырости зала, и зашагал опять невесть куда без намерения и смысла — лишь бы шагать, переставляя ноги, нервничая, вздрагивая по пустякам, воровато стреляя глазами, хоть, пожалуй, привык уже к косым взглядам прохожих — до чего он дошел сам он с трудом себе объяснял, пытаюсь что-то сложить в голове, расплывающееся, аморфное — что, что?

Вышел на какой-то центральный людный проспект и вдруг, не сделав и двух шагов, увидел — и вскрикнул: чуть поодаль, спиной к нему, стояли — да, именно стояли на собственных своих конечностях соразмерных пропорций люди — и что-то, кажется, оживленно разглядывали. Один протянул руку, будто указуя что-то вдаль ему неприметное... Сердце судорожно рванулось, ноги ослабли, и задрожали колени. Слабо загребая рукой, будто силясь заставить их оставаться на месте, он невесомо повлекся к ним, цепляя ногами коляски, теперь уже совершенно неважные. Бешено колотилось в груди, в ушах накатывало и шумело, он ближе, ближе, ясно печатается в создании облик ближайшего светлая легкая куртка и через плечо тянувшийся вниз ремешок провисающей сумки — как же сразу не понял подвоха? — вдруг ударило в уши и обожгло ужасом и отчаянием:

— I hardly believe so! Five o'clock, I remember, isn't it?

— Certainly not! But let me wait at least.

Слух не воспринимал более. Он с трудом пытался остановиться. Его несло прямо на них. Рот его по инерции глупо и просительно улыбался.

Один из них оглянулся, чуть удивленно подтолкнул того, в светлой куртке, он оглянулся тоже и вдруг неожиданно помахал ему рукой. Страх, унижение стеной встали в его груди, он ощутил, как острие чудовищного обмана плавно вошло прямо под сердце и мягко там повернулось, на секунду он застыл неподвижно, лицо его сморщилось — и он опрометью бросился куда-то вбок, в проход, через дворы, скверики, дальше, дальше от проклятого морока...

Чего стоило ему привести себя в чувство! Ему казалось, что он собирает себя по кускам, как рассыпавшуюся мозаику, отчаянно складывает прежний узор, камешки скользят, рассыпаются... Он в бессилии сжал виски. Нет, это невысказано, невозможно...

Завтра же прямо с утра на работу, и пусть там решают как хотят. Он больше не выдержит, просто сойдет с ума...

Так думал он, подходя к знакомому зданию, пригладил волосы, вздохнул глубоко и перешагнул порог. Но тут возникло новое осложнение: невесть откуда вынырнул маленький вахтер и, растопырив руки, будто ловил кого-то, задребезжал надсадно:

— Пропуск, пропуск у вас есть?

— Да видите ли, — начал он спокойно, как никак, а здесь он чувствовал себя увереннее, столько лет безвылазно тут просидел, не даром же! — Дело в том, что, когда уезжал, все документы сдал. В отдел кадров. Мне так сказали.

— Этого я ничего не знаю, — продолжал сердиться вахтер, — а без пропуска никого не пушу.

— Да ведь мне же надо войти, прежде, чем пропуск получить, правда? — мягко возразил он.

— Этого я ничего не знаю, — заладил тот, — а без пропуска не пушу и все.

— Да ведь вы поймите, где же мне этот пропуск получить? Мне же внутрь надо войти. В отдел кадров. Понимаете?

— В отдел кадров? — засомневался было тот. — А вы что, на работу устраиваться что ли?

— Нет, — сказал он скромно, — я здесь работаю, — тот недоверчиво на него посмотрел. — Только я пропуск свой сдал, понимаете? Я в командировке был, понимаете?

— Ладно, — вдруг смиростивился вахтер, — вот телефон, звоните.

— Куда? — не понял тот.

— Ну куда! В кадры. Пускай они тут разбираются.

Он позвонил. Пришлось долго объяснять, кто он такой и зачем явился. Наконец сказали подняться. Кабинет ему сразу напомнил таможню, только победнее, тот же стол широченный, сейф и такой же человек за столом — неопределенного возраста, важный — новый был теперь начальник.

— Ну? — спросил он. — Так зачем же вы пришли?

Он долго, с ненужной обстоятельностью, с заминками и мучительными поисками подходящего слова, объяснял свое дело в водянистые безжизненные глаза, которые воспринимали, казалось, совсем не те слова и фразы, какие складывал его неловкий язык, а что-то совсем иное, постороннее, не имеющее лично к нему того необходимого отношения, на которое он, как будто бы, имел право рассчитывать. Но глаза стеклянели, освещенные слабым блеском окна, они механически отражали рефлекс и отображали обратно в пространство ничем личным не замутненный световой луч.

Он запнулся на полуслове, по инерции выдохнул и умолк, нерешительно глядя на отражающего начальника, и ожидал приговора. Выдержав паузу, точно определяющую меру личного достоинства, тот отворил губы и проговорил четко и значительно:

— Ничем не могу помочь. Вы у нас значите как отсутствующую

щий, у вас ведь срок не кончен, так? Распоряжений на ваш счет никаких не поступало. А я на свой страх и риск не могу...

— Да чего же не можете? — слабо заартачился он. — Меня же не на работу принять, а я просто из командировки, ну, как обычно.

— Ну, знаете ли, — заговорил начальник суровым, слегка возвышенным голосом, — этого я слушать не стану, я вам сказал ясно — по документам я вас могу только оформить заново. Но раз вы здесь уже работали — я на себя такую ответственность не возьму. Вы понимаете? Тут ситуация от меня не зависит, — размягчился он вдруг и даже, кажется, сделал слабую попытку улыбнуться.

— Но как же мне быть? — спросил он каменным голосом. — Куда же мне обратиться?

Начальник глянул на него с изумлением:

— Я вам ничего не могу посоветовать. Я здесь лицо, если хотите, постороннее. Не я вас на работу принимал, и не я вас, в конце концов, в эту вашу командировку, как вы ее называете, отправил. По документам вы у нас еще четыре года не значитесь. Вам это понятно?

— Да, это все мне понятно. Но ведь меня же вызвали, так? — он уже, кажется, перенял манеру собеседника и что-то много себе позволял.

— Вызвали? — переспросил тот с раздражением. — Вызвали? Ну вот и общайтесь к тому, кто вас вызвал. При чем здесь я, я вас спрашиваю?

Его передернуло.

— Кто же тогда, — спросил он робко, — если не вы?

— Кто вас вызвал, я не знаю, — отвечал начальник сердито. — Институт не вызывал. Во всяком случае не через меня. А не через меня вряд ли. Не помню такого случая, чтобы меня не поставили в известность, — видимо, ему уже надоело с ним объясняться, и он говорил сухим, бесстрастным голосом, как бы давая понять, что дальнейшие расспросы излишни. — Меня всегда предупреждают, если что. О вас мне ничего неизвестно. Так что здесь я ничего поделать не могу. И потом, — он выразительно покосился на его ноги, — я думаю, вы понимаете, что у вас еще не соблюдены все... — он замаялся, — все... формальности, — произнес он довольно мягко, отведя глаза. — Пройдите пока необходимую процедуру, подготовьтесь, а там, может быть, я получу какие-нибудь особые распоряжения на ваш счет... А сейчас, — произнес он вкрадчиво, — будем считать разговор оконченным, — и, не оставляя ему возможности возразить, резко выбросил: — До свидания.

Он встал и покорно вышел. Какое-то тупое оцепенение овладело им, голова стала резиновой и упругой. Все ментальные отправления организма глохли как незаправленный бензином мотор. Простенький сенсорий брал над ними верх. Вот нервически-тонко кольнул незалеченный зуб, и в тон ему отозвался сигнал

откуда-то из-под желудка. Его организм функционировал каждой своей живой клеткой, низко ворчала перистальтика, систола ритмично сменяла диастолу и вновь завершалась ею, слюна накатывала на язык и поглощалась гортанью, и, верная долгу, периодически двигалась диафрагма.

Организм жил и жил активно. Зачесалось под левой лопаткой, мизинец левой ноги пищал, что ботинок слишком узкий, и пальцы правой руки привычно шевелились в кармане — носовой платок, гривенник, зажигалка...

Как прожектор включилась память. И увидел себя в ученические годы, когда по поводу изучения чего-то из области нервной системы им, столпившимся у препараторского столика, показывали опыт, суть которого он не уловил ни тогда, ни теперь — белую, розовоносую крысу с длинным чешуйчатым хвостом все били и били током, а она, злобная, разъяренная, ошалевшая от невыносимой боли, раз за разом дико кидалась на прутья маленькой клетки, черными своими глазами стреляя в них, праздно толпившихся вокруг. Писк ее, громкий, резкий, неистовый, явно отозвался в ушах — его замутило, и, тряхнув головой, он увидел ее, распятую на восковой дощечке со вспоротым ножницами животом, одуренную хлороформом, с бездвижными лапами, растянутыми во все стороны и приколотыми обыкновенными булавками, какие используются во время шитья — и вот она лежала, изувеченная и еще покуда живая, с запрокинутой оскаленной мордой, а черный живой глаз все косил, одновременно, казалось, ненавидяще и моляще...

Преподаватель же, подняв вверх с помощью большого пинцета, показывал всем присутствующим какой-то внутренний орган, только что собственноручно с большой ловкостью им извлеченный, и что-то долго и обстоятельно объяснял.

Он ухватился рукой за край стола, пытаясь удержать неподвижно плывущее перед глазами широкоскулое лицо профессора и его высоко задранную руку, но сам собою под пальцы ему скользнул металлическим прикосновением какой-то лабораторный инструмент — он потянул его к себе нечаянным движением и, опустив взгляд, обнаружил обыкновенный корнцанг — этот нелепый отпрыск ножниц — он ухватил его в правую руку и незаметно, пустив взгляд в окно, защемил себе со всею силою, на какую был тогда способен, указательный палец... Так простоял он до конца.

Но воспоминание на этом не останавливалось. Оно вело дальше — к крошечному стеклянному биксу, который пылился в ящике его стола, к маленькой баночке с притертой крышкой, где плавал в формалине бывший некогда живым кусочек той самой крысы, брошенный тогда на столе на выброс лаборанту, подобранный им и с непонятной тщательностью сохраненный. Вот что он вспомнил.

Он был уже у самого дома. Не оглядываясь по сторонам, он вошел и, несмотря на то, что день еще далеко не кончился, по

привычке, выработавшейся у него за эти последние дни, бросился на диван и заснул мертвым сном.

Утром он встал, оделся, долго и тщательно умывался, причесался, пристально выискивая что-то в маленьком туалетном зеркальце, потом, поколебавшись, взял бритву и бойко прошелся по щекам. Выпив кофе, пошел было к двери, но круто остановился, подошел к столу и, резко выдвинув ящик и перепав рукой барахло, выхватил оттуда склянку с колыхнувшейся жидкостью, выскочил на балкон и с размаху бросил ее в шевелящиеся внизу зеленые кусты. Потом резко перегнулся через перила и долго глядел вниз, пока не заболела грудь от влившейся железной полоски. Тогда он выпрямился и пошел. Ровно и неспеша спустился по лестнице, вышел на улицу, взял такси и поехал. Письмо он порвал еще накануне.

У широкого с гранитной лестницей подъезда машина резко затормозила, он вышел и поднялся по ступенькам. Дверь, непомерно высокая и отделанная богатой резьбой, доставшейся по наследству от прежней эпохи, поддалась с трудом, но не издав ни звука. Он прошел, огляделся и, подойдя к столику дежурного, протянул паспорт и бумагу.

— Вот, — произнес он, — я явился.

Дежурный протянул руку, принял бумаги и углубился в чтение документов.

ЛЕВ АБРАМОВИЧ

Лев Абрамович бегло просмотрел свежие газеты. На глаза ему попала заметка в «Комсомольской правде» под названием: «Верить в бескорыстных людей». Он начал читать: «Уважаемые товарищи, пожалуйста, помогите найти родных людей. Не родственников — их искать не стоит: дальних нет, а ближайшие — отец и мать — живут со мной в одном городе, и я у них, между прочим, единственная дочь. Но более чужих, чем они, я себе и представить не могу. Помогите найти хотя бы одного человека — любого пола, возраста, уровня образования, семейного положения, с которым можно было бы породниться: помогать, переписываться, ездить в гости, советоваться, думать о его проблемах.

Если мой отец к внуку выбирается раз в три месяца, зато за остродефицитной книгой может ездить неизвестно куда, если мою мать больше всего на свете беспокоит приобретение фенопласта, или как там называется то, чем сейчас модно обклеивать прихожие, как это больно...»

Он поморщился и отложил газету. Почему-то эта корреспонденция напомнила ему дочку. Он не хотел тратить время на чтение подобной чуши. Через час он должен был уже быть в университете. Он очень гордился тем, что из всех поэтов города он — самый популярный. Чуть ли не каждый день — звонки, звонки, звонки из разных организаций. Особенно учащались они к 23 февраля и ко Дню Победы. Тогда у него было по несколько выступлений в день. Конечно, это трудно — рассказывать, как немцы повели всех на расстрел и твою мать повели тоже, а ты спрятался под нары и убежал. Сколько лет прошло, а каждый раз он рассказывал об этом и плакал, и зал плакал вместе с ним. А потом он читал стихи, сначала о войне, а дальше на всякие современные темы, прекрасно зная, что никто, может быть, даже в Москве, не пишет так смело. **«А где же мы были вчера?»** — спрашивал он всех и в первую очередь самого себя. «Теперь, — писал он, — мы отважны отвагой ЦК, что же мы раньше-то молчали?» Рабочие и инженеры, лишившиеся своего законного перекура, насильно согнанные в актовом зале послушать известного поэта, кивали головами и бешено аплодировали. Как он чувствовал свою нужность: в этот момент! Ведь все время какая-то

тревога томила его. Успокаивался он только когда писал или выступал, поэтому отдыха он старался не знать.

Выступать ему сегодня очень не хотелось. Так хорошо писалось! Так пошла работа! Он дописывал поэму «Отец». Когда-то он предпочитал рассказывать, что расстреляли не только мать, но и отца, стыдась признаться, что отец жив и не просто жив, а занимает ответственный пост в Комитете государственной безопасности, но после смерти отца он вдруг с удовольствием стал подмечать в себе все более растущее с годами сходство с ним. Как и отец, он любил уют и строгий порядок в доме и очень раздражался, если видел, что хоть какая-нибудь вещь лежит не на своем месте, как и отец, он был вспыльчив и болезненно самолюбив, и еще многое, многое, как и отец. Теперь у него была другая легенда об отце, легенда, в которую он от многократного повторения и сам начинал верить: отец, всю жизнь уверенный, что борется с врагами революции, осознав вдруг, что на нем много крови ни в чем не повинных людей, сходит с ума. В действительности, по приказу Хозяина всю верхушку ГБ в те годы расстреливали и сменяли новой. И отец в ожидании ареста вдруг сообразил запеть в своем кабинете и был посажен в сумасшедший дом. Отец ему сам признался в этом, но легенда была более символична и потому более достоверна. Сын предпочитал верить легенде. «Принимаю светло и печально я твою боевую судьбу», — бормотал он в пылу вдохновения.

2

Вера задыхалась. На свое письмо в «Комсомольскую правду», на свой крик о помощи она получила уже две тысячи писем. Редакция вначале всем любезно сообщала ее адрес, потом ей позволили оттуда, чтобы она сама приезжала. Они не в силах заниматься только ее корреспонденцией.

Она уже пару раз ездила в Москву и привозила оттуда полные чемоданы писем. Как ни странно, много было среди них и негодующих. Возмущались, как могла она так написать о родителях. Пожили бы они с такими! Она всегда старалась говорить только правду. За эту ее правдивость и независимость за ней многие шли и в огонь, и в воду. Если она не была готова к занятиям, то всю группу могла убедить, что сегодня нужно сачковать, и вся группа сачковала. Много людей окружало ее в студенческую пору. Куда все подевались? Ничего, зато теперь у нее 2000 писем. И в каждом письме свое горе. Как приятно помогать тем, у кого горе! Как она ненавидит сытые благополучные рожи! Она и в политике всегда помогала двоечникам. Все они ходили сдавать экзамены по ее шпорам. Да, тогда они молились на нее. А теперь, небось, сами стали сытыми и благополучными. Ладно, бог с ними со всеми! Самое главное — из сына воспитать человека. Пусть поймет: не еда, не шмотки главное в жизни. Она посмотрела на портрет деда, висящий на стене, и подумала: —

Для него вот не это было главным. Даже папочка его уважает. — И с удовольствием вдруг отметила, что у нее такой же пронзительный ястребиный взгляд, как у деда.

— Обязательно надо будет повести Сашу на братскую могилу, — решила она, — туда, где расстреляли его прабабушку, туда, где могли расстрелять его дедушку. Нет, — поморщилась она, — таких, как он, не расстреливают. Такие всегда остаются в живых, а потом выступают с воспоминаниями. Он страшно гордится, что благодаря его письмам в «Литературку», наконец-то, на том месте за деревянной оградой постамент с табличкой: — Здесь в 1941 г. фашистами были расстреляны... — Ему даже прислали фотографию этого памятника. Господи, хоть бы один разок съездил, поглядел на памятник, хоть бы ее повез, хоть бы внука повез! Даже и в этом случае он ведет себя лицемерно. Онаглянула в зеркало, припудрила темные круги у себя под глазами и вздохнула: — И все же он счастливчик! Ему, наверное, незнаком страх одиночества. Того одиночества, которое возникает во мне и вокруг меня, в какой бы большой компании я не находилась. Одиночество — стеклянная перегородка, отделяющая меня от других людей. Вся жизнь уходит на то, чтобы разбить эту перегородку. А она стоит и стоит. И нет любви ни к кому, даже к собственному сыну.

3

— Ненавижу всех, — думал Саша, с отвращением разглядывая склоненную над ворохом писем материнскую голову в крупных бигуди. Папа как-то при нем сказал ей: — Единственные существа, которые могут при тебе свободно жить и дышать, — это тараканы. Для остальных ты места не оставляешь. — Правильно он сделал, что умотал от нее. Но и он хорош! Хоть бы поинтересовался, как ему живется! Нет, слинял, и все. А бабушка с дедушкой каковы? У самих чистая современная квартирка. Не то, что тут. А бабушка еще и накормить умеет от пуза. Хоть бы забрали его к себе! Так нет, подыхай тут с голоду. Мать ведь совсем перестала готовить с тех пор, как стала получать письма со всех концов страны. Приходит с работы и тут же садится строчить всем ответы. Вот пусть те, кому она заливает, любят ее и благодарят. Ему благодарить ее не за что. — Саша глянул на портрет прадедушки. — Ну, и харя, прямо, как у мамы! — усмехнулся он. Мама часто, когда ссорилась с бабушкой, показывала на портрет прадедушки и говорила, что в то время были настоящие люди и настоящая вера, а теперь все не то. Дедушка защищался, но как-то слабо и неуверенно. — А что, если наябедничать дедушке про ее письмо в «Комсомолку»? — подумал Саша. — Дед, небось, и не читал, а если и читал, то не знает, чей это выпендрож. Нет, не стоит, — остановил он себя, — так хоть изредка дед к нам таскается, а так только его и видели. — А все-таки дедушка уматный! Приходит и тут же начинает сюсюканье свое читать. А слабо ему написать про тех сволочей, что дразнят и бьют его, Сашу?

Слабо! — Объясни им, — сказал ему как-то дед, — что все мы равны, потому что в братских могилах перемешаны кости наших близких.

Попробовал бы он когда-нибудь загнуть пацанам такое, то-то они реготали бы!

А все-таки и его самого тянет на что-нибудь возвышенное и даже в рифму, когда сквозняк и дрожат занавески на окнах, когда Аня наклоняется над тетрадкой и ресницы у нее дрожат, и родинка над губой дрожит...

Нет, нет, забыть об этом. Надо стать таким же, как все, и обязательно научиться драться. Свой не принимают в футбольную команду, потому что хилак, так надо поиграть с пятиклашками. Уж они-то примут. А потом... какой кайф.. чуть кто что ему скажет, бац ногой ему по голове, как по футбольному мячу, потом еще, еще, еще...

4

Лев Абрамович стоял возле памятника, — Вот и свиделись, мамочка, — шептал он, и слезы текли по его щекам. Всю жизнь он считал, что Бог его единственного оставил в живых, потому что был у него свой тайный замысел. Всю жизнь он работал, как вол, надеясь, что рано или поздно скажет свое слово в поэзии. Он все принес ей в жертву, даже любовь. Он женился, когда ему еще и двадцати не исполнилось, женился, твердо рассчитывая, что брак его временный, что ему надо только стать на ноги, издать хотя бы первый сборник. Неласковая женщина, не любившая стихов и ничего в них не понимавшая, оказалась хорошей хозяйкой, и постепенно он понял, что лучше жены не найдешь, что любовь для него непозволительная роскошь, потому что она отнимает время, отвлекает от работы.

А потом у них родилась дочка, которая с возрастом становилась все более чужой им обоим. Мать она, собственно, никогда не любила. Когда она была маленькой, он этим даже гордился. Вот мать не любит, а ко мне, отцу, тянется. Вся в меня и поэзию любит. Что же такое произошло? Почему она вдруг перестала верить ему? Наверное, он сам во всем виноват, сам своими стихами создал у нее пидетет дедушки. Она ведь всего-то и видела его пару раз. А потом он взял да и рассказал ей всю правду «о времени и о себе».

— А у тебя, оказывается, две правды, папочка, — сказала она ему тогда. С этого времени они стали чужими.

Лев Абрамович вздохнул и взглянул на табличку: «Здесь в 1941 г. фашистами были расстреляны...» Может, эта металлическая табличка — единственное, что я сумел сделать в своей жизни? — подумал он. Кто будет помнить, что жил на земле такой поэт? Кто будет читать его стихи? А надпись на табличке прочитают. Может быть, для этого я и был спасен? — Нет, — вздрогнул он, — не только для этого. Чьи-то стихотворные строчки всплыли в его памяти:

*Мы вянем быстро, так же, как растем,
Растем в потемках, в новом урожае.
Избыток сил в наследнике твоём
Считай своим, с годами остывая.
Как человек, что драгоценный вклад
С лихвой обильной получил обратно,
Себя себе вернуть ты будешь рад
С законной прибылью десятикратной.*

Кто-то известный писал их. Кто? Он не мог вспомнить. Да и не в этом была суть. Суть была в том, то у него еще есть Саша, что он еще не успел его потерять. Почему-то именно ему, Саше, не мог посвятить он стихотворения. Да и разве расскажешь в стихах о том, как ему становится хорошо, светло, когда Саша рядом, и как тоскуют руки приласкать его, приголубить. Когда-то он так же вот любил Веру. А теперь она запрещает Саше приезжать к нему. Говорит: — Нечего ему делать в вашем мещанском гнездышке! — Неужели она не видит, не понимает, не чувствует своей жестокости? Неужели она не видит, каким жестоким иногда становится Сашин взгляд? Волчонок, маленький угрюмый волчонок. Невозможно его погладить. Испуганно дергается от любого прикосновения. И все-таки, до чего родной, до чего любимый! Все на свете готов отдать, только бы Саша жил с ними. Сколько лет должно ему исполниться, чтобы он сам мог выбирать, с кем ему жить? Одиннадцать? Двенадцать? Ему ведь уже скоро двенадцать. Надо пойти к юристу, надо узнать.

У него вдруг кольнуло сердце, потом еще и еще. Он опустился на землю и достал таблетку. Валидол всегда был при нем.

Он до сих пор помнил, как его схватило тогда, когда во двор въехал грузовик с солдатами в немецкой форме. Он сразу почувствовал: они приехали убивать, и рванулся было предупредить маму и других, но не предупредил, сердце проклятое помешало. Оно разорвалось в груди, как будто пуля уже вошла в него, и он рухнул на землю и стал ползти, и только, когда он пробрался в сарай и заполз под нары, и мешком каким-то задвинул себя так, чтобы совсем-совсем раствориться в темноте, сердце отпустило. Вот и сейчас оно поболело и отпустило.

Он снова почувствовал себя двенадцатилетним сиротой, бредущим по дороге, где добрые люди прятали его, кормили жалели.

— Как странно, — думал он, — больше всего добра я получал именно от чужих. Пришла пора отдавать долги. Обязательно надо будет забрать Сашу к себе! И в школу другую переведем его, а то там его совсем затравили. Если его будут любить, и он, может быть, любить научится.

— Мама, мамочка, я обещаю тебе, — начал было он и опять почувствовал, как кольнуло сердце, и вздохнул, что уже ничего не успеет сделать, что смерть притаилась где-то рядом, и пожалел, что она так долго водила его за нос и что теперь кости его будут гнить отдельно.

— Не в братской могиле сгниют мои кости, — прозвучало у него в голове, и он достал заветную тетрадочку и торопливо записал эту фразу...

ВОДОВОРОТ

Рая открыла глаза. Худенькая светловолосая девушка тормозила ее.

— Сдурела ты, что ли, спать на сырой земле. Присаживайся к нашему костру. Есть хочешь?

— Хочу, — кивнула Рая.

— Ребята, накормите товарища из голодного Харькова, — крикнула девушка.

— Вы меня знаете? — удивилась Рая.

— Но ты же выступала сегодня. Я тебя запомнила, ты Рая из Харькова. Меня зовут Наташа. Слушай, не бери в голову, что тебя освистали. Тут у каждого автора свои болельщики. Они аплодируют ему одному, а других освистывают. А тебя тут не знает никто, так что свист получился дружный.

Рая оглянулась. У костра сидело пять-шесть человек. Парочка на переднем плане целовалась. Рыжий бородач лихо лупил по гитаре и пел: «Ах, как хорошо, ать, два, руки, ноги, голова. Душу выдуваем ртом, поднимая пыль столбом...» Несколько девочек вразнобой подпевали ему.

— У тебя много песен? — спросила Наташа.

— Сорок три, — смутилась Рая, — я пишу всего два года.

— Сорок? Прекрасно. Если все песни такие, как те две, что ты спела, я тебе устрою домашний концерт. Ну, ладно, перекуси, а потом споешь, — предложила она, пододвинув Рая миску с гречневой кашей.

Только сейчас Рая почувствовала, что очень проголодалась, поэтому долго упрашивать себя не заставляла. Господи, как она мечтала поехать в Москву на слет самодеятельной песни! И вот приехала... Ей дали пропеть всего две песни, а потом стали свистеть.

— Ну, что, наелась? — спросила Наташа, видя, что Раина миска опустела, — теперь спой нам, пожалуйста.

Рая взяла гитару и запела. Запела не речитативом, как принято петь у авторов и исполнителей самодеятельной песни, а на дыхании, тщательно выпевая, пестуя каждый звук. От такого пения она получала не только духовное, но и физическое наслаждение. Ей нравилось ощущение своего льющегося, густого и сильного голоса.

Когда она закончила, все молчали. Парочка по-прежнему целовалась. Рыжий парень отвернулся и забренчал на гитаре что-то тоскливо знакомое, его обступили, запели. Одна Наташа улыбнулась:

— Я буду не я, если ты не станешь известным бардом! Тебе есть где жить в Москве?

— Нет, я приехала сюда только на два дня на слет.

— А дни свободные у тебя есть?

— Есть. Целые каникулы.

— Вот и прекрасно, — обрадовалась Наташа, — поселишься у меня и через пару дней дашь концерт. На, держи, — она протянула Рае карточку с напечатанным на ней адресом и номером телефона. — А теперь иди, подсаживайся к другим кострам, пой им, чтобы тебя получше все узнали.

— Спасибо, — улыбнулась Рая, — до встречи.

— Как хорошо все устроивается, как замечательно! — думала она, бредя куда-то наугад, — теперь меня узнают, теперь обо мне заговорят, будут переписывать мои песни с магнитофона на магнитофон, будут их петь!

Она вдруг увидела прямо над собой парящую в воздухе гусеницу и удивленно подумала: «Летает, еще не став бабочкой». Гусеница описывала равномерные круги над ее головой, и Рая не сразу сообразила, что гусеница висит на паутинке. «Куда я иду? Зачем? — подумала она. — Надо немедленно уезжать, и чем скорее, тем лучше». Она сама не понимала, отчего вдруг так резко изменилось ее настроение. «Ну, подумаешь, гусеница! — попыталась взбодриться она. — Все будет хорошо, все будет хорошо!».

Но ее не оставляло смутное чувство вины, и она не могла найти ему никакого объяснения. «Нельзя мне здесь оставаться, — решила она. — Здесь все предопределено, и траектория моего полета известна заранее». Она вздрогнула: «Что за idiotские мысли приходят мне в голову? Траектория полета... чушь какая-то. Просто я устала, и, к тому же, мне страшно одной бродить по лесу. Надо найти свою палатку и лечь спать».

«Что мне делать с тобой, непокорная боль?

Этой ночью в пространство распахнута сцена.

Ну, а зрители? Им не узнать тебе цену,

Если правду свою не сыграешь, как роль...» —

услышала она чей-то мягкий тенор. Она оглянулась. У костра в окружении нескольких человек сидел парень лет двадцати. Что-то детское, простодушное было в его улыбке. «... Им не узнать тебе цену, если правду свою не сыграешь, как роль», — повторила про себя Рая. — Как это верно, как точно!» Она присела к костру и дальше уже почти не вслушивалась в слова, замороженная необыкновенной выразительностью гитары и голоса. И состояния одиночества и потерянности, не оставлявшее ее со дня приезда в Москву, постепенно сменялось уверенностью, что все приехавшие сюда — славные, родные люди. «Неважно, кто из нас поет, кто сочиняет, кто слушает, неважно, кто из нас пишет хорошо, кто плохо, — думала Рая, — важно, что мы приехали сюда раскрыть свои души и слить их в общем хоре».

Несколько фигур на четвереньках пронесли мимо них с хрюканьем и лаем.

— Уже готовы! — презрительно сказала одна из девочек. — Или выпили, или травки накурились.

— Какой травки? — удивилась Рая.

— А ты что, тоже хочешь попробовать? — рассмеялась она.

Поющий отложил гитару и сказал:

— Ну, все, хватит. Я уже охрип.

— Можно, я спою вам свою песню? — спросила Рая.

Он улыбнулся:

— Конечно.

Рая спела песню, которую считала самой лучшей из всего, что она написала.

— Штампы, штампы, — засмеялся он, — но вот строчка «Уйди, как уходит земля из-под ног», хорошая. Я ее у тебя беру. Все равно, у тебя пропадет, а в моих стихах эта строчка засверкает. Пушкин, например, беспощадно обворовывал своих бездарных современников. А вообще, людям совсем не нужно, чтобы было много поэтов. Им нужен один Пушкин и, максимум, два Баратынских. Так что тебе писать стихи совершенно ни к чему.

«Наверное, он действительно талантлив, — вздохнула Рая, — наверное, он имеет право так говорить».

— Ну, так что, даешь строчку? — снова спросил он.

— Берите, — с какой-то странной радостью ответила Рая. «Может быть, благодаря ему хотя бы одна строчка от меня останется», — подумала она.

— Что ж, ты мне нравишься, — он улыбнулся, — давай знакомиться. Миша Глаголев.

— Рая, — протянула она ему руку.

Очень приятно, Рая. Спой мне, пожалуйста, еще, — попросил Миша.

Рая хотела было отказаться, но вдруг почувствовала, что поет, торопясь, глотая слова, боясь, что Миша вот-вот прервет ее. Миша слушал ее внимательно, потом задумчиво сказал:

— Судя по твоим стихам, внешний мир течет мимо тебя. Ты его не видишь и не чувствуешь. И в то же время есть в них и искренность, и непосредственность, и сдержанность какая-то. Это подкупает. Как тебя можно было бы разыскать? Я хотел бы еще послушать что-нибудь.

— Я буду в Москве несколько дней, — ответила Рая, — вот, запишите мой телефон, — Рая продиктовала ему Наташин номер телефона и поднялась:

— Ну, до свиданья. Мне пора.

— До свиданья, Рая, — пожал он ей руку, — буду рад еще увидеться с тобой.

Было уже два часа ночи, когда Рая, наконец, нашла свою палатку. Кругом по-прежнему горели костры, звенели голоса и гитары, но ей хотелось только одного — спать, спать, спать...

Рая снилось, что она ведет урок литературы в своей школе. «Это повесть о мальчике, у которого нет Бога в душе», — порадовалась она своей первой фразе. «Напрасно церковники пытаются запугать его», — неожиданно для самой себя выдала она вторую. К доске, по-детски улыбаясь, шел Миша. Поравнявшись, он шепнул ей на ухо:

— Вы знаете, только что мне пришла в голову гениальная строчка: «Остановите Землю, я сойду!» Каково?

— Миша, я где-то уже слышала что-то подобное, — ответила Рая. Она протянула руку, чтобы погладить его по щеке, но наткнулась на пустоту.

Когда она проснулась, у нее было такое ощущение, что только что во сне она совершила какую-то подлость, какое-то предательство. Во рту был странный неприятный привкус. Она лизнула пересохшие губы. Они горчили. «Предательства вкус на губах после сна», — прозвучало у нее в голове.

— Вставай, лежебока! — услышала она Наташин голос, — еле еле тебя разыскала. Мы едем в гульбарий!

— Что такое «гульбарий»? — спросила Рая, протирая глаза.

— Пивнушка, — ответила Наташа, — мы там всегда собираемся после слета. Едем с нами. Мы насобирали аж пять рюкзаков бутылок. Сдадим бутылки и устроим пир.

На тротуарах возле пивной, удобно расположившись на рюкзаках, на спальниках, а то и прямо на асфальте, сидело человек пятьдесят-шестьдесят. Они пели, играли на гитарах, отхлебывали пиво из пузатых кружек, из бутылок.

Рая вдруг залихватски села прямо на тротуар и залпом выпила теплое горьковатое пиво. Она чувствовала, что в ней появилась раскованность, которой не было раньше. Разве могла она раньше вот так вот запросто сидеть на тротуаре и пить пиво? Вернется она в Харьков, никто не узнает ее. А то ей все время говорят:

— Почему ты такая застенчивая? Почему ты опускаешь глаза? Почему ты смотришь исподлобья?

И все же что-то мучило ее, что-то не давало ей покоя, что-то, что привиделось ей во сне и уже не отпускало. «Предательства вкус на губах после сна», — повторила она, вслушиваясь в себя. Потом достала из рюкзака тетрадь и ручку и, уже не слыша и не видя ничего вокруг, стала записывать:

*Предательства вкус на губах после сна.
Кого предала я? Не помню. Неважно.
Проснувшись, я снова добра и отважна.
Вина сновидений — моя ли вина?
И все же, наверное, сны неспроста,
И те же виденья терзали Иуду,
Покуда апостолом был он, покуда,
Как равный средь равных, любил он Христа.*

Она вздрогнула от пронзительного милицейского свистка и крика: «А ну, расходитесь, живо!» Наташа схватила Рая за руку и запела: «Поднявший меч на наш союз достоин будет худшей кары»... И все, сидевшие на тротуарах, ребята с гитарами поднялись и, взявшись за руки, грозно наступали на милиционеров и пели: «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу!» — и хотя Рас все время казалось, что она не участник действия, а зритель, она тоже пела. Ей продолжало казаться, что она — зритель, и когда четверо в форме схватили двоих, и она вместе со всеми кричала: «Не дадим товарищей в обиду. Идем туда все вместе». — А потом она увидела камень в руках у Наташи, а потом в здании милиции зазвенели стекла, и Наташа куда-то пропала, а их всех вызывали и спрашивали, кто была эта девушка, которая била стекла, и где она живет, и все в ответ только плечами пожимали. А потом тех двоих выпустили, и Рая вместе со всеми кричала:

— Ура! Наша взяла!

Она вдруг остановилась посреди крика и удивленно спросила себя: «Что на меня такое нашло? Я ведь не чувствую себя ни нашей, ни вашей». Она вспомнила Мишины слова: «Судя по твоим стихам, внешний мир течет мимо тебя, ты его не видишь и не чувствуешь», — и подумала: «Пожалуй, он был прав, я просто скольжу по жизни, как гусеница по паутинке. Единственное, что я умею — это всматриваться в себя... Но этого так мало, так мало...

Через час Рая уже была у Наташи.

— Ну, как, не продала меня? — озорно блестя глазами, спросила Наташа.

— Ну, что ты? — обиделась Рая.

— Эту квартиру я сняла два дня назад, — объяснила Наташа, — никто, кроме тебя и двух моих друзей, Игоря и Алисы, не знает ни моего адреса, ни телефона. Я предупредила, чтобы они молчали. И ты молчи. Милиция давно меня разыскивает. Они еще раньше собирались упечь меня за тунеядство, а теперь еще эти разбитые стекла прибавились.

— Я не из болтливых, не трус, — успокоила ее Рая.

Ее внимание привлек портрет молодого человека на стене. Странно, этот парень не был похож на Мишу, но что-то неуловимое было в нем от Миши, что-то было такое во взгляде, в повороте головы, в чем читались талант и одновременно высокомерие.

— Прекрасный портрет! — восхитилась Рая. — Кто художник?

— Алиска, — небрежно отмахнулась Наташа, — но это реализм, это не так уж интересно. У Алиски сейчас такая абстракция пошла, такой сюр* мощный!

Рая услышала, как щелкнул ключ в двери, и через несколько

* «сюр» /жарг./ — сюрреализм.

минут в комнату зашел высокий, чуть сутуловатый парень со странно мягкими размытыми чертами лица.

— А вот и Игорь, — обрадовалась Наташа. — Знакомься, Игорешка, это Рая — талантливый бард из Харькова. Сейчас я поджарю картошку и будем есть.

— Не беспокойся, — сонно потягиваясь, ответил Игорь, — я дома кое-что перехватил.

— Да? И как твои встретили тебя? — ухмыльнулась Наташа.

— Стану я с ними встречаться, еще чего! — помрачнел Игорь. — Я специально зашел тогда, когда дома никого не было.

— Игорь у нас поэт, — повернулась Наташа к Рае, — он учился в политехе, пока не познакомился со мной. Я его вытащила оттуда. Он должен быть свободен для стихов. Я буду не я, если о нем не узнают. Я поселила его у себя, а то старики у него скандальные.

Игорь смущенно закашлялся.

— На что же вы живете, Наташа? — спросила Рая.

— Я позирую, нам хватает, а Игорешке не надо зарабатывать. Ему надо работать для вечности. Самое главное для художника — это свобода, — встряхнула она головой. — Никто не имеет права приказывать ему — это делайте, этого не делайте, так себя ведите, так не ведите. Поэтому меня менты эти так и возмутили, поэтому я им стекла и побила. Ну, ладно, хватит об этом. Игорь, почитай лучше Рае свои стихи.

Игорь вдруг запричитал, завыл, закричал, размахивая руками в такт своей сбивчивой речи. Рая не сразу сообразила, что это и есть стихи. Из нагромождения сумбурных строчек она с трудом смогла различить рефрен: «Я проклинаю тебя, Москва, проклинаю, проклинаю!» К тому же, огромный серебряный перстень Игоря очень мешал ей сосредоточиться. Наконец Игорь закончил читать и выжидательно посмотрел на Раю.

— Ну, каково? — восхищенно спросила Наташа.

— Блеск, — ответила Рая, осуждая себя за это подыгрыванье и в то же время не желая обидеть ни Наташу, ни Игоря.

— Наташа, — попыталась она перевести разговор на другую тему, — насколько я поняла, ты позируешь частным образом, но ведь бывают же у тебя времена, когда нет заказов. Что ты делаешь тогда?

— Тогда я стреляю деньги у прохожих, — улыбнулась Наташа.

— Как это — стреляешь? Воруешь? — испугалась Рая.

— Нет, что ты, — засмеялась Наташа, — просто подбираюсь. По крайней мере, пять-шесть рублей в день нам с Игорешкой обеспечены. Но ты не расстраивайся, — добавила она, видя, что Рая напряженно смотрит куда-то в сторону, — это в тебе говорят предрассудки и комплексы. В конце концов Будда тоже просил милостыню и не считал это зазорным для себя.

«А мне ведь даже неудобно ей возразить», — подумала Рая. «Она считает себя абсолютно свободной. Что ей нормы, правила? И все-таки человек, у которого они есть, свободнее ее. Ведь если

ему захочется бросить камень в окно, он волен и бросить его и не бросить, а она, повинаясь своим желанием, бросит обязательно».

— Хватит комплексовать! Где ты учишься, кстати? — спросила ее Наташа.

— В политехническом, — ответила Рая.

— Дался вам всем этот политех, — усмехнулась Наташа. — Какой в нем ляд? Бери пример с Игорька, если не хочешь угробить свой талант.

Где-то рядом затрещал телефон. Наташа схватила трубку.

— Миша? Глаголев? Это ты?! — удивилась она. — Кто тебе дал мой телефон? Алиса? Как, я тебе сама его дала?

«Он спутал Наташу со мной», — догадалась Рая и выхватила у Наташи трубку.

— Я вспомнила, — поспешно сказала она, — конечно же, я сама и дала тебе свой телефон на слете.

— Я хотел бы с тобой встретиться, — сказал Миша.

— Хорошо, — согласилась Рая, чувствуя, что смертельно боится этого свидания и в то же время не может противиться желанию увидеться с ним, — давай через час на Главпочтамте.

— Идет.

Миша сидел на Главпочтамте и писал какое-то письмо. «Как он похож на тот портрет! — подумала Рая. — Странное в нем сочетание детской открытости и высокомерия!»

— Здравствуй, Рая, — поднялся он ей навстречу, — я хотел бы еще послушать твои песни, там есть хорошие строчки, но для начала ответь мне на один вопрос: откуда ты знаешь Алису?

— Может быть, ты вначале хоть сесть мне предложишь, — улыбнулась Рая, подвигая к себе стул, — не знаю я никакой Алисы.

— Извини, мне не до церемоний, — Миша нервно забарабанил пальцами по столу. — Ты ведь спросила меня: «Тебе Алиса дала мой телефон?»

— Мне не хочется говорить об Алисе, — отвернулась Рая.

— Так, все ясно, — нахмурился Миша, — Алиса была с кем-то другим на слете. Там вы и встретились, там ты и дала ей свой телефон. Мне она сказала, что поехать на слет не может, а сама тайком поехала с другим.

«Так значит, иу него есть Алиса», — с тоской подумала Рая.

— Ну, что ты, Миша, — возразила она, — Алиса тут ни при чем, Алиса ни в чем не виновата.

— Чем ты больше ее защищаешь, — рассердился Миша, — тем мне яснее, что все так и было. Говори, где ты с ней познакомилась?

— Послушай, — сказала Рая, — не знаю я никакой Алисы. С тобой говорила вначале не я, а Наташа. Я остановилась у нее. А ты спутал Наташин голос с моим.

— Правда? Выходит, со мной говорила Наташа? — с облегчением вздохнул Миша. — Какой я дурак, вечно Алису ревную.

Он вдруг опять нахмурился:

— Так, значит, Наташа и тебя уже в свое кодро заманила?

— Что значит «заманила в свое кодро»? — обиделась Рая, — я просто остановилась у нее на несколько дней.

— Уйди от нее, это страшный человек, — скривился Миша.

— Почему?

— Почему? — усмехнулся он. — Люди из-за нее бросают работу, бросают учебу, начинают попрошайничать на улицах. Алисе внушила, что она — талантливая художница, и Алиса ушла из института. Ты бы видела ее мазню!

— Я видела твой портрет, он мне очень понравился, — возразила Рая.

— Удивительно еще, что ты догадалась, что на портрете я, — покраснел Миша. — Таких талантов, как ты и Алиса, у Наташи много. Она подкармливает человек десять всяких мазил и графоманов. Помнишь тех, на четвереньках, которые хрюкали и лаяли? Там могли быть ее протеже тоже. Они пьют и курят всякую гадость для раскрепощения духа. Я ведь сам из них. Я ведь сам еле-еле выкарабкался.

Он провел рукою по лбу, как бы прогоняя неприятные воспоминания, и неожиданно спросил:

— Как ты думаешь, для чего в свое время люди уходили в монастырь?

— Наверное, для того, чтобы побыть наедине с самим собой и с богом, — не очень-то уверенно ответила Рая.

— Чушь, — рассмеялся Миша, — вернее, это — не главная причина. В первую очередь они шли в монастырь из тоски по казарме. Ведь когда ты абсолютно свободен, все минуты проваливаются в какую-то бездонную пропасть. Ты вглядываешься в себя и ничего, кроме пустоты, не видишь. И я уж прослежу, чтобы Алисиной ноги у Наташи больше не было, я не дам ей пропасть, — вдруг добавил он.

«Так вот оно что, — задыхнулась Рая, — вот почему он так ненавидит Наташу. Алиса ведь не его, Алиса Наташина. Ревность это, просто ревность».

Она вспомнила вдруг, как Наташа в ту ночь на слете протянула ей миску гречневой каши. «А теперь, пока мы с Мишей разговариваем, — подумала она, — Наташа, небось, по магазинам с высунутым языком бегают, продукты покупает. Или уже набегалась, у плиты стоит».

«Ей придется расплачиваться за свою доброту», — мелькнула у нее странная мысль.

— Миша, — с трудом выдавила она из себя, пытаясь сбросить оцепенение, — Наташа ведь не для себя старается, она...

— Не для себя? — перебил он ее, — в этом ее самоутверждение, дурочка. Ведь без тех, кому она покровительствует, она была бы полным нулем. А так она — величина. Как же? Благотельница, хозяйка салона. И мы с тобой тоже пишем для себя и на слеты ездим для себя. Мы любим, чтобы нам хлопали, чтобы нас

хвалили. Только нам с тобой для самоутверждения нужен талант, а ей...

— Постой, постой, — глаза его заблестели, — ведь тот телефон, по которому я тебе звонил, выходит, ее телефон?

— Зачем он тебе? — испугалась Рая.

— Как зачем? Сообщить в милицию, — вскочил Миша, — ты же знаешь, что ее давно разыскивает милиция. Вот теперь ее посадят на годик, и там ей вправят мозги.

— Ты этого не сделаешь, Миша, — закричала Рая. — Ты не донесешь на нее!

— Не впадай в патетику, — нахмурился Миша.

— А если об этом узнает Алиса? — спросила Рая.

— Я сам ей скажу, — вздохнул Миша, — и, может быть, после этого она со мной расстанется. Но я ради нее и на это готов.

У Рая перехватило дыхание, она изо всех сил оперлась руками о стол и попыталась вздохнуть. Стол качнулся и поплыл куда-то. «Предательства вкус на губах после сна», — пробормотала она и, схватив Мишу за руку, торопливо заговорила:

— Миша, Мишенька, я тебя умоляю, не выдавай ее. Ну, хочешь, я откажусь от всего, что я написала, в твою пользу? Может быть, тебе какие-нибудь строчки пригодятся. Хочешь, я подмастерьем твоим стану?

Миша провел рукою по Раиной щеке, потом взял ее за подбородок и, ласково глядя ей в глаза, сказал:

— Девочка, не унижай себя ради таких, как Наташа. А до того, чтобы стать моим подмастерьем, ты должна еще дорасти.

Рая резко ударила его по руке, шарахнулась куда-то вбок и, придя в себя, обнаружила, что, натываясь на прохожих, идет по улице. «Куда я забрела? Что это за улица? Сколько времени я уже так иду? — спохватилась она. — Надо немедленно предупредить Наташу». Она подошла к телефону-автомату и набрала Наташин номер. Ей ответили короткие гудки, такие быстрые и торопливые, что Рая поняла, что времени у нее мало. Она побежала. «Только бы добраться до метро, — стучало у нее в висках, — а там недалеко». Но метро рядом не было, и длилась путаница с какими-то непонятными улицами, троллейбусами, автобусами.

Войдя в Наташин подъезд, Рая наконец-то перевела дух. «Какая я дурочка, — подумала она. — Как я могла поверить, что он способен на такое. Это были просто слова, не больше».

Какая-то девушка спускалась по лестнице ей навстречу, и Рая удивилась: «Боже, как она похожа на Наташу!» — а потом сообщила, что это и есть Наташа, но не могла в это поверить, потому что у Наташи было каменное чужое лицо. В следующее мгновение Рая увидела рядом с ней двух милиционеров и поняла, что опоздала, и еще она поняла, что Наташа защищает ее от этих милиционеров, делая вид, что она с ней незнакома.

— Прости, это я во всем виновата, — блеснула глазами Рая.

— Не хандри, — дрогнули Наташины глаза.

«Все. Это конец. Ей уже не выплыть, — обреченно подумала

Рая, провожая взглядом сгорбленную Наташину фигурку. — И ему тоже после такого не выплыть», — со странной тоской подумала она о Мише.

Ступеньки лестничной клетки расплылись в ее слезах и потеряли очертания. Рая, как в кинотеатре, захотелось крикнуть: «Дай резкость!» — так крикнуть, чтобы ее услышал неведомый забулдыга-киномеханик, который перекроил ей жизнь, как киноленту, и что-то в ней перепутал и поменял местами.

«А я ведь так и не разглядела ни Мишу, ни Наташу, — вздохнула она и вдруг спросила себя: «Зачем я пишу?» И ответить не смогла. И уже потом, сидя в поезде, думала о том, что Миша высказывал ей ее собственные мысли о Наташе и в то же время поступил так, как ни она, ни Наташа никогда бы не поступили. «Откуда у него такая уверенность в собственной непогрешимости? Откуда у него такая уверенность, что он может брать на себя не только роль судьи, но и роль палача?» — думала Рая. Она вспомнила, как он сказал ей: «Я беру твою строчку. Все равно у тебя пропадет». И она, дурочка, даже обрадовалась. Дала строчку, как будто вклад в сберкассу сделала. А ведь что ей надо было пережить, чтобы вырвалось это: «Уйди, как уходит земля из-под ног!»

— Чого сумуешь, дівчино? — услышала она чей-то ласковый голос.

Она оглянулась. Только сейчас она заметила, что рядом с ней примостилась какая-то немолодая уже женщина, что возле нее вертится маленькая черноглазая девочка, наверное, внучка, и опять ругнула себя за то, что не видит ничего вокруг, что всецело погружена в собственные размышления и переживания.

— У гости ідеш? — спросила ее эта женщина.

— Нет, к самой себе, — ответила Рая и повторила: «к самой себе», и вдруг улыбнулась. Мелодия, торопливая и властная, уже настигала ее...

«ГУД БАЙ, АМЕРИКА»

У нас такая интересная англичанка на курсах в Чикаго преподавала! Вообще-то она не англичанка, а русская еврейка, просто преподавала она английский. Так вот она говорила нам: — Ребята! От судьбы не уйдешь! Мой первый возлюбленный сказал мне: «Галина! Ты живешь слишком далеко от меня. Я не могу тратить час в день на поездки к тебе». Я жила тогда в Ленинграде, и он провожал меня с несколькими пересадками через весь город. Мы расстались. С тех пор прошло 30 лет. Мой последний Чикагский возлюбленный мне заявил: «Галина! Ты живешь слишком далеко. Я не могу тратить час в неделю на поездки к тебе. Даже такая женщина, как ты, этого не стоит». Заметьте, и у него есть машина, и у меня. А результат тот же. Так стоило мне уезжать из Ленинграда, скажите мне?

Конечно, она права. От судьбы не уйдешь. Вот Марина, например, уехала от Саши и детей с собой забрала. Она не в Америку уезжала. Она бежала именно от него и от своей ревности к нему. Теперь у нее ослепительная улыбка, обалденные шмотки, и что же? Из-за океана она по-прежнему зорко следит за всеми связями своего мужа, требует у подруг, чтобы они писали ей, где они его видели, когда и с кем. Она и у меня очень подробно все выпрашивала.

На меня теперь все пальцами показывают: посмотрите на дурочку. Она вернулась. Была в гостях и вернулась. Бронетранспортеры на улицах, а она вернулась.

А я вам скажу: не важно, где жить, важно с кем! Мне показалось, что они там малость прибитые. Не все конечно, но новопривбывшие уж точно прибитые.

Ну то, что я хожу по их шикарным магазинам и ничего не могу купить на те доллары, что мне, как гостье, обменяли, это понятно. Я же цену каждой вещи умножаю на двадцать, и прихожу в ужас от дороговизны. У нас сейчас на черном рынке один доллар за 20 рублей продается. Но они-то там, они, прожив там по году, по два зачем по-прежнему умножают все на двадцать, вы мне объясните? Почему мой чикагский друг хотел послать мне чай в подарок, а потом умножил его цену на двадцать, решил, что это слишком дорого и передумал. Или ухажер мой чикагский, университетский профессор, между прочим. Пригласил меня в ресторан. Долго ходил со мной по улицам и по запаху выбирал, какой ресторан лучше. А когда, наконец, выбрал, усадил меня за столик и сказал: «Ну я вообще-то не голоден, я дома поел, и только кофе себе возьму, а вы заказывайте себе все, что хотите».

Ну как мне было реагировать на это? Я конечно ответила, что тоже хочу только кофе. Он, по-моему, очень обрадовался. А по их ресторанам можно ходить всю жизнь и за всю жизнь так всех блюд до конца и не перепробовать. А вкусно-то как! Пальчики оближешь! Но когда я пришла на курсы и меня спросили, как там в Союзе, и я ответила: «Продуктов нет. А так все более или менее», они завопили: «Всего лишь продуктов? Так зачем же мы уезжали?» Они же все думали, что спасаются от погромов. А погромов все нет и нет. Только бронетранспортеры на улицах, вообще-то антисемитизм и в Америке есть, особенно среди негров, говорят. Вот Буся с мужем спасались от погромов, так этого мужа в Чикаго убил негр. Может грабануть хотел, может из антисемитизма, черт его теперь разберет.

А талантливый, может быть даже гениальный художник Марк Ройтман спасался не от погромов, а от безработицы и безвестности. Он ничего не умел делать, только рисовать. Когда он уезжал, он раздарил все свои картины, потому что платить огромную пошлину за собственные произведения не хотел и не мог. В Чикаго я видела его картины у дочери коллекционера Аркадия Михайловича. Аркадий Михайлович смог заплатить пошлину. Из

всех своих картин и скульптур он вывез только несколько картин Марка Ройтмана. А Марк, который надеялся в Чикаго стать знаменитостью по-прежнему не хочет зарабатывать деньги любым трудом и поэтому сидит на пособии по безработице, и у него нет денег для того, чтобы купить себе холст и краски. А Аркадий Михайлович, богатый коллекционер, который не собирался ехать ни в какую Америку, а, наоборот, в 85 лет всерьез собрался жениться на своей тридцатилетней соседке, живет сейчас в доме для престарелых. Чикагские дома для престарелых не нашим домам чета, но все же, все же... Мне жаль его. Как он любил собирать у себя людей. Как люди любили собираться среди прекрасных картин и скульптур. Конечно, они обманывали его. Но он был счастлив. И тридцатилетней соседке, на которой он собирался жениться, он тоже не был нужен, но она рассчитывала, что его богатство стоит того, чтобы быть ему преданной помощницей до конца его жизни. А когда внук, уезжающий в Америку, объяснил Аркадию Михайловичу, что тридцатилетняя соседка выходит за него замуж не по любви, он вначале не мог в это поверить, а потом распродал все свое имущество за исключением нескольких картин Марка Ройтмана, потому что поверил, что едет доживать свою старость с дочкой и внуком. Теперь у его дочери висят картины Марка Ройтмана. Она приезжает к отцу раз в месяц, а внук того реже. От судьбы не уйдешь.

Когда аэрофлотовский самолет сел на советскую землю, в салоне раздались аплодисменты. Я сама зааплодировала даже, а на душе все равно кошки скребли, и казалось мне, что больше ни мне, ни всем нам, оставшимся никогда, ни в какую страну высунуться не позволят. И тогда я повторила: «От судьбы не уйдешь!» Вот попробуйте, это помогает.

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ФЕВРАЛЯ

Впервые я услышала об этом от своей начальницы по работе — «25 февраля сиди дома, в городе неспокойно», — многозначительно заявила мне она. Следующей была восьмидесятилетняя Броня, которая у себя дома за весьма умеренную плату занималась со мной йогой. Она сказала, что до нее дошли слухи, что 25 февраля надо на окне поставить свечку, тогда, мол, ничего не будет, не будут тебя ни резать, ни бить. Потом мой муж объявил, что свечку конечно зажечь надо, но по совсем по другой причине. «Дело в том, — объяснил он. — что демократическое движение 25 февраля решило устроить факельное шествие в поддержку демократии против партократии, и все, кто за демократию, должны на окне зажечь свечку». В общем разное говорили в городе, но меня все это как-то мало волновало. Утром 24 февраля я, как обычно, пошла к Броне заниматься йогой. Я подошла к двери и позвонила. Никто мне не открыл. Странно было то, что в дверном глазке горел свет, ну и кроме того мы с Броней договари-

вались о занятиях, а она была очень обязательна и пунктуальна. «Броне труба», — подумала я и, позвонив в милицию, стала требовать, чтобы они открыли Бронину квартиру, потому что Броне плохо, а может быть, она умерла.

— Разве она болела? — спросил меня дежурный.

— Нет, она не болела. Наоборот, стояла на голове и на руках, но, во-первых, ей восемьдесят лет, а в таком возрасте даже йог может умереть, а во-вторых, может быть во время стойки на голове она умудрилась свернуть себе шею, — ответила я.

— Ищите ее родственников. Мы взламывать ее дверь не будем. Может быть, она просто куда-нибудь ушла, а потом еще вернется и предъявит нам претензии, что мы ее обокрали, — отрезал дежурный.

Брониных родственников я не знала, и даже не была уверена, что они у нее есть вообще.

Я звонила Броне целый день, даже ночью раз позвонила, а наутро не выдержала и снова обратилась в милицию. На этот раз мне ответили: «Мы выезжаем». Я тоже выехала.

Два сержанта стояли у Брониной двери и чесали себе затылки.

— А вдруг мы взломаем дверь, а ее там нет, — колебались они.

— Почему воры имеют набор отмычек, а вы нет? — поинтересовалась я.

— Мы не воры, — гордо ответили они и стали ходить по квартирам Брониных соседей в поисках топора.

Они таки нашли топор и, разнеся в щепки Бронину дверь, ворвались в квартиру.

Брони в квартире не было, как мы ее там ни искали. Ее комната носила следы поспешного бегства: постель была неубрана, бумаги разбросаны по полу.

В свою разгромленную квартиру она вернулась только через 2 дня и застала там меня и моего мужа, безуспешно пытающихся водрузить новую, за 800 рублей купленную у кооператоров дверь, на место порубленной старой. Зная, что лучшее средство обороны — нападение, мы тут же набросились на Броню с вопросами, где она была и как она могла уйти, никого не предупредив. Броня ответила, что она была там, где были все люди ее национальности, что все люди ее национальности так делали, а предупредить меня о том, что занятий не будет, она не могла, потому что там, где были люди ее национальности, не было телефона.

— Броня! — возопила я. — Что вы говорите? Я тоже вашей национальности, и мой муж, и мои друзья вашей национальности, нашей национальности.

Что же делали люди нашей национальности и почему мне об этом ничего не известно?

И я выяснила у Брони, что люди нашей национальности в эти дни оказывается, прятались в подвалах. И места в подвалах надо

было заранее бронировать, и билет в подвал стоил очень-очень дорого.

— Напрасно вы взломали мою дверь, я очень недовольна этим, — изрекла Броня таким тоном, каким она обычно говорила: «Напрасно вы плотно кушаете перед сном».

— И вообще, — добавила она, — в конце концов холостая женщина имеет право отправиться ночевать к любовнику и нечего следить за ее нравственностью.

— Броня! — закричала я. — Зачем вы поверили слухам? Неужели вы не понимаете, что всех нас специально запугивали?

— Я еще хочу жить. Я хочу умереть своей смертью, — ответила Броня, прошла в свою спальню и села в позу лотос. Видно в подвале ей неудобно было это делать, и она успела соскучиться по своей любимой позе.

Я вдруг подумала, что фраза «Броня забронировала место» смешно звучит и засмеялась. А потом я бросила смеяться, и мне стало все по фигу. А Броня сидела и сидела в позе лотос, и ей, видно, тоже было все по фигу. И соседям, которые собрались на лестничной площадке и глазели на нас сквозь проем в том месте, где была дверь, тоже было все по фигу. А в городе все было спокойно. Спокойно, как всегда.

М Е С Т Ь

Вам когда-нибудь кто-нибудь делал зло? Если делали, то вы должны знать, как хочется отомстить и как тяготит чувство, что тот, кто это зло совершил, абсолютно безнаказан. Хотя, может быть, если вы настоящий христианин, то у вас и не так. Мне трудно судить. Не могу сказать, чтобы я придерживалась принципов иудейской религии. Я даже их не знаю толком, но этот ветхозаветный принцип «око за око, зуб за зуб» у меня в крови. Правда, теперь всякие талмудисты пытаются его истолковать как-то по-иному. Говорят, что имелось, мол, в виду совсем другое, а вовсе не месть. Но я-то чувствую, всей кровью чувствую, что имелось в виду!

Вот и моя хорошая знакомая Элла так чувствует, хотя жизнь у нее поломана все равно, что говорить. Ну ладно, начну все по порядку.

Еще в школе Элла увлеклась литературоведением и философией, и, окончив школу, поступила в пединститут. Уж очень ей хотелось быть учительницей русской литературы. Пединститутские педагоги сразу выделили ее из общей массы, а ее преподаватель по русской литературе XIX века даже отметил, что она педагог милостью божьей, после ее доклада «Пушкин и декабристы». В их группе был еще один «педагог милостью божьей» Света Шелехова. Элла заметила Свету сразу же, как поступила в пединститут, и решила во что бы то ни стало с ней подружиться. Света была из тех, с кем хочется находиться рядом, кому хочется

следовать, подражать. Вся их группа ею восхищалась. Элла была молчалива и замкнута. А у Светы был дар блистать. Казалось, она была рождена править. Когда Света занималась с отстающими, даже последняя дубина все усваивала. А как Света умела разговаривать с людьми! Несколько минут общения, и человек ей рассказывал о себе то, в чем даже самому себе признаться боялся. И Света тут же деятельно бралась помогать человеку в его неприятностях и помогала ему, еще как помогала! И еще Света была воплощением женственности. Эта легкая походка, эта улыбка победительницы, эта речь, мягкая, вкрадчивая. В общем Элла очень хотела быть похожей на Свету. И вдруг Света взяла да и написала в КГБ донос на Эллу и в этом доносе детально пересказала один единственный разговор о политике, который Элла вела с ней. Дело в том, что Элла по дурости своей вдруг стала рассказывать Свете, что у нас в стране преследуют евреев и что вообще наша власть из себя ничего хорошего не представляет.

Не думайте, что Света была такой идейной. Она перед Эллой еще и какую антисоветчицу из себя строила. Почему Света написала свой донос, Элла не знала, догадывалась, что Света увидела в ней соперницу. Нет, нет, мужчин между ними не было, да и пединститутская группа в основном состояла из девочек. Просто Свете хотелось быть первой, а тут их, первых, было две. КГБ спустило Светин донос в пединститут, и Эллу с громким скандалом из института исключили. Сама же Света на время громкого Эллиного исключения просто сказала больно.

Пединститутская жизнь мирно потекла дальше, уже без Эллы, а Элла устроилась в проектный институт резницей чертежей. Вы, наверно, даже не знаете, что это за работа. Объясню. Из светоконии к вам поступает целый рулон чертежей. Его надо разрезать на отдельные чертежи и раскомплектовать чертежи по папкам. В общем работа дурнее не придумаешь. К тому же от свежих чертежей так воняет аммиаком, что не продохнуть. Вначале Элла задыхалась от этого запаха, а потом привыкла. Постепенно она привыкла ко всему: и к своей медлительности, и к мату напарниц, и к тому, что ее из-за медлительности называли вредительницей и утверждали при этом, что все евреи вредители. Просто у Эллы не получалось резать чертежи, ни о чем не думая. А когда она думала, движения у нее становились медленными и вялыми, и ничего с собой поделать она не могла. Думала же Элла все время одну и ту же думу, такую же монотонную и тягучую, как ее работа: «Господи, покарай ее, Господи, покарай ее, Господи, покарай ее». С годами это Эллино желание быть отмщенной не ослабевало, а только усиливалось. Она не упускала Свету из виду, она даже выписывала «Учительскую Газету» потому только, что время от времени там появлялись хвалебные статьи о Свете. Она читала эти статьи жадно, по многу раз подряд, чтобы вдоволь зарядиться ненавистью. Она ненавидела Свету за все, чем раньше в ней восхищалась: за вкрадчивый го-

лос, за легкую походку, за небрежный жест, которым Счета убирала челку со своего лба, она ненавидела в ней все, даже родинку на подбородке, в которую почему-то каждый раз упиралась своим внутренним взлядом, она ненавидела Свету за то, что ничем уже, кроме своей ненависти и медлительности, не отличалась от напарниц, даже материться научилась, как они. Она все время представляла себе, как встречает Свету и прилюдно дает ей пощечину. Она ходила повсюду, где, как ей казалось, она могла бы встретиться с ней: на литературные вечера, на концерты авторской песни, где имела обыкновение собираться вся городская интеллигенция, в клуб учителей-новаторов «Эврика», даже на лекции об инопланетянах. И каждый раз она подолгу дежурила на выходе из зала, внимательно вглядываясь в лица ровесниц и очень часто узнавая своих бывших сокурсниц, теперешних солидных учительниц с многолетним стажем. Казалось, не было ни одной сокурсницы, которую за эти годы Элла не встретила бы там или сям. Но Свету она так ни разу и не встретила.

Иногда Элла специально знакомилась со Светиными знакомыми для того, чтобы рассказать свою историю и поссорить их со Светой, но Светины знакомые обычно вежливо ее выслушивали, ахали, сочувствовали и честно признавались, что не хотят усложнять себе жизнь и выяснять со Светой отношения. «И даже рассказывать Свете о том, что знакомы с тобой, мы не будем», — обычно добавляли они.

Замуж Элла вышла поздно, вышла только потому, что надо же было в конце концов за кого-нибудь выйти, вышла и не смогла дать мужу ни любви, ни тепла. Муж называл их дом «холодным домом». Иногда она по вечерам спрашивала его: «Ты ничего не хочешь?», и он знал, что это приглашение в постель. Сам он, если и решался подойти к ней с какими-то выражениями нежности, то только в первые годы их супружества, потом подходил к ней только по ее приглашению, потом уже и на эти, ставшие привычным штампом, приглашения, не откликался. Она понимала, что живет он с ней только потому, что, по его собственному признанию, он «куда встрянет, оттуда выстрять уже не может», что как только он влюбится в кого-нибудь, он тут же уйдет, и она очень боялась остаться совсем одна, но как ни уговаривала себя хоть раз подойти к мужу просто так, не для постели, обнять его, приглубить, сказать ему хоть одно ласковое слово, почему-то не могла заставить себя сделать это.

Через четыре года после замужества она влюбилась. Он был ее сослуживцем. Каждый день они в перерыве встречались в институтской столовой, и вдруг она почувствовала, что каждый день ее согрет надеждой на встречу с ним. Она даже посвятила ему стихотворение, из которого мне запомнилась строчка: «Я ничего от Вас не жду, а просто жду Вас». А потом, когда он увольнялся, она спросила его, могут ли они видаться и дальше, и он удивился: «Ты что, хочешь, чтобы я на свидания с тобой ходил?» И она поняла, что душа ее погибла и что единственное, что отныне бу-

дет согреть ее — ненависть. Ненависть к той, что превратила ее в вялую, некрасивую, безрадостную женщину, которую никто не любит.

И она придумала, как отомстить Свете за всю свою убогую, поломанную жизнь. Она написала объявление: «Продается складной двухколесный велосипед. Звонить круглосуточно» и дала Светин номер телефона. Теперь каждые несколько месяцев она размещает эти объявления на светокопии и обвешивает ими весь город. Складные велосипеды нынче в дефиците, так что к Свете, уверена, звонят с утра до ночи. А может быть даже ночью звонят.

Недавно я встретила Эллу, так она аж светится, говорит, что жизнь ее хоть какой-то смысл приобрела и что даже чертежи она режет теперь быстрее и энергичнее, и напарницы гавкают на нее меньше.

Честно говоря, я за нее искренне рада. А если вы христианин, то вашего мнения никто и не спрашивает. Впрочем, считайте, как хотите...

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Сосны уходили вверх, и на всем протяжении дороги, трясясь в автобусе, он вспоминал, на что же похож цвет их коры. Напоминал что-то съедобное. Но что?

Поездка была неудачной — директор овощной базы действительно оказался жуликом. И проверка документов, счетов, накладных затянулась, казалось, никогда не кончится. У директора дома была нищая обстановка, да и сам он производил впечатление скорее лопоухого добряка, чем вора. Но Варламов верил документам, а по бумагам получалось, что директор украл у государства около пятнадцати тысяч.

Варламов приехал в город усталым и каким-то грязным изнутри. Хотелось вымыться и напиться горячего чая. Подходя к дому, он поднял голову, отыскивая свое окно. И понял, на что похожа кора сосен — она того же цвета, что кирпичи, из которых сложен его дом. Но почему казалось — съедобное? Из-за маминых кулинарных способностей?

У нее не было желания и умения кому-то, хотя бы и мужу, уступать, зато была неприятная привычка говорить поучающим тоном, и она давно, еще когда Варламов был маленьким, осталась одна. Она не искала приключений и словно была рада тому, что Варламов остался полностью в ее власти. И она обрушила на него все новости педагогики. Видимо, в школе нельзя было экспериментировать, все же чужие дети и их надо учить, как принято, но дома она была одновременно и Споком и Макаренко. Система японского воспитания себя не оправдала — трехлетний Варламов дотянулся до чайника на плите и два месяца пробыл в больнице.

Теперь ему было за тридцать, и он с высока выслушивал мамины жалобы на учеников и последний педсовет. Ему казалось, что он никогда не был ребенком — сразу родился старым.

Поднявшись в лифте, он не стал рыться в портфеле, искать ключ. Он нажал на звонок условно — один длинный, два коротких. Так они с мамой давали друг другу знать, что пришли свои. Но вместо торопливых: «Иду, иду!» была тишина. Варламов удивился. Шесть часов вечера, суббота. Мама в такое время всегда была дома. В квартире было чисто, пусто и пахло чем-то пугающим. Лекарством. Варламов поставил портфель на пол. —

Заболела, пошла к врачу? А вдруг — еще хуже? Не закрывая дверь в квартиру, позвонил к соседям. Вышла женщина, он не знал, как ее зовут, иногда виделись в лифте, он каждый раз удивлялся, что ей тоже на десятый.

— Вчера ее забрали, — она говорила и с любопытством изучала его реакцию, — я только видела, как выносили, это вам надо у тех, из восьмидесят девятой, спросить, они вызывали.

Выносили? У нее никогда ничего не болело. 65 лет — это еще не старость. Он нажимал кнопку звонка и слышал за дверью переливчатый зон. И сразу его невзлюбил, этот звон. В 89-й никого не было дома.

Варламов постарался собраться, сосредоточиться. Надо узнать, где мама. Ее перевозили на машине «скорой помощи». Значит, надо звонить в справочную «скорой».

Через полчаса он узнал, что мама лежит в травматическом отделении седьмой больницы. Еще через час он был у нее.

В палате стояло шесть кроватей. Он осмотрелся, но матери не нашел. Стал вглядываться в лица и понял, что голая старуха, едва прикрытая простыней, с ногой, поднятой и привязанной к гире — его мать.

Он сел около нее, взял за руку, поцеловал эту руку и заплакал. Он знал несколько случаев у родственников и знакомых — перелом шейки бедра не заживал ни разу. Конец наступал через две-три недели от пролежней или отека легких. Мама была обречена. И он прощался с ней сейчас, когда она еще могла говорить, могла пожалеть его.

— Ну, что ты, Дима, что ты? Ну, сломала ногу, но зачем же плакать, я ведь не умираю.

И она перешла на деловой тон, зная, что это его всегда успокаивает:

— Знаешь, я хочу тебя попросить: принеси мне из дома ночную сорочку, тут мне почему-то не дали.

— Сейчас я у них попрошу.

— Ты хочешь к сестре пойти? Тогда высморкайся.

Она устало закрыла глаза.

— Как ты упала, мама?

— Не спрашивай, так глупо все. Вешала на кухне белье, не удержалась на табуретке. Лежала на полу. Потом доползла до двери, не знаю как открыла. Надя как раз с работы шла. Вызвала машину. Вот и все.

Варламов вглядывался в нее. Круги под глазами, запекшиеся губы. Но она же живая сейчас и так рассказывает, будто о ком-то другом, кажется, что все в порядке. Не может она умереть. Ни сейчас, ни после. Никогда.

Он вышел из палаты. Стоял в коридоре и плакал. Подошла на костылях соседка по палате.

— Хорошая она была?

Вопрос был страшным. Варламов понял это не сразу.

— Так она мучилась этой ночью, что вы не знаете, где она.

Уж ей и снотворное кололи, а она все не спала. И забудет, опять на бок начнет поворачиваться, ногу тревожить.

Он вспомнил, что мама всегда спала на правом боку и его приучала. «Спала». Он подошел к сестре. Она дала рубашку.

— Скажите, а сколько надо пролежать с этой гирей?

— Сорок дней. Но у пожилых, конечно, хуже срастается.

— А нянечек у вас нет?

— Нет, у нас родственники ухаживают.

Свет в коридоре был ярким, в палате горел только ночник. Больные разговаривали, но когда он вошел, все замолчали. Он чувствовал себя как на сцене, все было ненастоящим, и от этого стало немного легче. Рубашка была мала, он разорвал ее по шву и надел на маму. Дал ей попить. Вынес судно. Подкладывать его она не разрешила — стеснялась. Он ушел от нее около полуночи. Шел по улице. Все куда-то летело — его жизнь потеряла опору.

Какой постоянной, незыблемой и длинной кажется жизнь, когда все хорошо. И как мы рассчитываем, распределяем ее на долгие годы вперед, загадываем, что будет через десять лет, если мы что-то сделаем или не сделаем. Экономим деньги, нервы, идем на компромиссы, или просто предаем. И оправдываем себя тем, что так будет лучше потом. Сейчас он словно смотрел с другого берега на себя, вчерашнего и удивлялся — значит, жизнь так хрупка и все это знают, почему же он узнал это только теперь? Да нет, знал он давно, читал и слышал, но понял только сегодня. Значит, надо беречь то, что есть, радоваться каждому дню, который прошел без неприятностей и боли. И быть благодарным за каждый такой день.

В квартире без мамы было одиноко и неудобно. Варламов разогрел чай, но пить его почему-то не смог. Долго мыл руки. Когда раздевался, старался не смотреть на пустую мамину кровать.

Ему приснилась драка под аркой, в грязном дворе, он — свидетель, но бежит вместе со всеми. Парень-убийца, рука в крови, хватает его, запихивает в подъезд, чтобы пропустить погоню. Он видит кровь на своем светло-сером пальто, его начинает рвать, он хочет уйти, поднимается по лестнице. На площадке открывается дверь, выглядывает старик с желтыми волосами, небритый, он просит у старика воды — стало плохо с сердцем. Старик впускает в квартиру. Дверь захлопывается, он вздыхает с облегчением — убийца остался там, за дверью. Входит в запущенную ванную, пьет воду, ему до головокружения противно здесь пить, но он хочет задержаться подольше, чтобы ушли эти, призраки, из подъезда. Начинает разговор со стариком о валидоле и сердечных болезнях. Старик отвечает, но как будто все время прислушивается. Выясняется — ждет сына, сын почему-то задерживается, никогда такого не было. Варламов начинает подозревать, что сын — это тот, убитый, в подворотне. Спешит уйти, пряча грязный рукав.

Ему начинает казаться, что убийца — он. Мысль эта настолько сильна, что с нею он и просыпается.

Солнце освещало комнату. Под маминой кроватью лежали клочки пыли. Варламов оделся и, выпив кофе, стал подметать пол. У него внезапно появилась надежда вылечить маму. Он стал вспоминать, кто из знакомых связан с медициной, представил маму на костылях, но живую.

Сегодня надо позвонить тете Шуре, маминой двоюродной сестре, она оповестит родственников. А завтра нужно будет уладить дела на работе и поговорить с шефом, попросить несколько дней за свой счет. Несколько дней... У Варламова сжалось сердце. Мысли о маме были настолько жгучи, что он старался думать о конкретных делах. Он представил, как придет на работу, все будут что-то советовать ему, вспоминать свои болезни и несчастья. А мама в это время лежит и смотрит на дверь, жалкая, слабая.

* * *

Варламов шел от остановки по узкой, еле-еле протоптанной в снегу тропинке. Снег светился и переливался на солнце. Огромное, из стекла и бетона, здание больницы тоже сверкало. Здание становилось все ближе, нависало над Варламовым. Он шел и думал о своей жизни. Он жил всю жизнь с мамой. Вырос. Ему тридцать два года. Сначала она говорила, что жениться рано, надо закончить институт. А потом он понял, что ни одна женщина не будет так понимать и любить его. У него, правда, были увлечения, а сейчас, последние четыре года, была Нюта. Он был к ней привязан, но не хотелось менять свою жизнь, да и маму боялся обидеть. Как у двух женщин сложатся отношения еще неизвестно, а у Нюты к тому же и дочь семилетняя.

Они познакомились случайно, на пикнике. Пикник был двухдневный, и в первый день за Нютой ухаживал Игорь, но она почему-то выбрала Варламова. Палатки их стояли рядом, они сидели вечером у костра, пили чай. Варламов до сих пор помнил первый Нютин поцелуй. Утром Игорь, как ни в чем ни бывало, играл с ними в волейбол, и только, холодно улыбнувшись, сказал:

— Ай да Митя, сколько прыти!

Игорь был для Варламова больше, чем приятель. Они учились в одном классе и, лет пять назад, случайно встретившись, разговорились, и Игорь предложил Варламову перейти в свою контору. Оклад больше и работа престижнее. Потом стало понятно, что Игорю был удобен этот переход. Игоря повысили, Варламова взяли на его место. Игорь знал его покладистый характер, знал, что Варламов будет благодарен за эту услугу. Но Варламов чувствовал, что отношение Игоря к нему изменилось, особенно в последние месяцы. А может, это ему только казалось. Наверное, дружба кончается, когда друзья начинают работать вместе. «Лицом к лицу лица не увидать». Варламов усмехнулся — как много он, оказывается, взял у Игоря. Даже его привычку говорить цитатами.

Маме было хуже. Она просила пить и тут же звала сестру — поставить судно. Варламов видел, что его мама всех раздражает, казалось, что даже соседи по палате относятся к ней враждебно.

— Всю ночь не спит, вас зовет, пить просит. А еще сегодня ночью стихи вслух читала, — жаловалась в коридоре соседка.

Варламов молчал, боролся со слезами. Прошел по коридору к сестре. Она сидела за столом и что-то писала.

— Неужели у вас нет ни одной нянечки?

Сестра зло посмотрела на него:

— А кто сейчас пойдет в нянечки?

— Но ведь травматическое отделение! Тут восемьдесят процентов лежачих! Ей же попить некому дать!

— Вот вы и давайте! Вы ей кто? Сын? Вот и ухаживайте за своей матерью!

— Да я не отказываюсь, но я ведь не могу быть здесь сутки! Горло перехватило от обиды и несправедливости. Варламов повернулся и пошел в палату.

Напротив мамы лежала молодая женщина. У нее был перелом таза, рядом с ней сидел муж.

— Петь, иди домой, — охала женщина, — тебе же сегодня в ночную...

Вошла сестра. Она, видимо, не могла оставить последнего слова за Варламовым.

— Вот вы с претензиями, а у меня кроме вашей матери еще сорок шесть больных. Я одна с ними, понимаете? И градусники, и уколы, и пеленки, и еда.

Не давая времени ему ответить, она ушла.

Пожилая женщина в углу закашляла, потом сказала:

— Самая вредная эта Нина. И уколы у нее самые больные.

— Мама, перестань меня стесняться. Ты хочешь на судно?

— Нет, Дима, я не могу. Ты поставь его на стул, я достану.

Когда ночью он возвращался из больницы, на улицах было совсем пусто. Падал тяжелый снег. В голове Варламова тоже было пусто и даже как-то прохладно. После всего, что он увидел в больнице, не хотелось жить. Он пришел домой и сел писать письмо в горздрав. Он описывал зрелище унижительных страданий людей, страданий ими не заслуженных, и которых вполне можно было бы избежать, если найти нескольких сиделок.

Из больницы Варламов позвонил Игорю. Он старался говорить спокойно, но ему, наверное, это не удалось, так как Игорь стал его успокаивать и посоветовал дать денег нянечке, чтобы она подходила к маме, когда Варламова не будет. Он бы дал, хотя это неприятно, он краснел, когда давал «на чай», но давать-то некому.

Он писал об этом и о маме. Варламов не просил поместить ее в привилегированный госпиталь. Он просил пощады ей и всей ее палате, и всему отделению. Но мама, его мама, конечно, была

на первом месте. Ее труд, ее ученики, ее общественная жизнь. Он спрашивал: «Почему она должна умирать так унижительно?», и понимал, что ответа на это письмо не будет. Да, это был жест отчаянья. Но все же, надеясь, наверное, на чудо, Варламов бросил письмо в почтовый ящик.

* * *

На работе был совершенно другой мир. Это был мир здоровых людей. У них были мелкие неприятности, от скуки они интриговали, жаловались на начальство и родственников. К Варламову подошел Игорь. Он был чем-то доволен, улыбался:

— Ну, скажи спасибо, Митрич.

Варламов не протестовал:

— Спасибо.

— Что-то энтузиазма не слышу. Я сейчас был у шефа, рассказал ему о тебе, он посочувствовал и дал неделю. Так что сдавай мне дела, все равно сейчас ты не работник.

— Как неделю? За свой счет?

— Да нет же, говорю, шеф согласен, он утрясет.

Варламов вспомнил, что их Сонечке тоже давали неделю, когда она вышла замуж. И тоже никак не оформляли. Он передал Игорю папку с документами, которые привез из командировки, посмотрел в ящиках стола не забыл ли чего, оделся и ушел. Через неделю — Новый год, значит, еще два дня лишних. Когда он был в больнице, около мамы, пропадало чувство безнадежности. Он видел ее, помогал, надеялся вытащить. Сама мама была настроена оптимистически. Варламов говорил с врачом отделения, тот отделался общими фразами, куда-то спешил, и Варламов не решился спросить, умрет мама или нет.

* * *

Утром пятого дня, когда он пришел в больницу, в вестибюле висело объявление о карантине. Это значило, что к больным пускать не будут. Варламов пробрался сквозь толпу родственников к барьеру, за которым сидела равнодушная девица в белом халате. Она выслушала его, порылась в ящике.

— Как фамилия?

— Варламов.

Она нашла какую-то бумажку и протянула ему. Он взял, не понимая.

— Это пропуск, — нетерпеливо объяснила она. — Вас пропустят.

Варламова оттеснили, он заметил, что пропуска давали немногим.

Мама встретила его радостно.

— А я боялась, что ты не сможешь пройти.

Женщина с переломом таза, Валя, обиженно сказала:

— Моего не пустили. Говорят, только к тяжелым. А я что, легкая, что ли? стакан еле достаю. Утром вон сегодня вся чаем облилась.

Варламову было неприятно. Неужели эта Валя не понимает, что она-то выздоровеет. Молодая, крепкая, ест с аппетитом. А у него это последние дни рядом с единственным родным человеком.

— Димочка, ты не посмотришь, что это у меня там. Как будто что-то мешает.

Мама в первый раз разрешила ему поднять одеяло. Простыня под ней сбилась в ком и была мокрой. На полосатом матрасе расплывлось темное пятно.

— Сейчас, мама, подожди.

Сестра сидела за своим столом.

— Вы не поможете сменить простыню, она совсем мокрая.

Сестра недовольно пошла с Варламовым. Она сбросила с мамы одеяло и он увидел, что одна половина ее тела, та, что с больной ногой, упиралась в доску, к которой была привязана нога.

— Приподнимайте ее, а я вытащу простыню.

Варламов стал поворачивать маму, она вдруг громко застонала.

— Поворачивайте, поворачивайте.

Сестра ловко подстелила сухую простыню на освободившееся место.

— А теперь в эту сторону.

Он обошел кровать и осторожно приподнял маму. И увидел темно-красную рану у нее ниже спины. Рана была величиной с блюдце. Он испуганно крикнул:

— Смотрите, что это?

Сестра перегнулась, посмотрела.

— Что-что! Прележни это. Я сейчас.

И она ушла. Мама лежала почти на боку и, видно, ей было очень больно.

— Дима, ну скорей, я не могу.

Ее голос был сдавленным.

— Сейчас, мама, сейчас.

Но он не понимал, чего ждет, не понимал, зачем ушла сестра. Наконец она вернулась, принесла тампон с какой-то мазью, прилепила к ране, потом быстро вытянула из под мамы старую простыню.

— Вот и все. Отнесите эту вон в тот шкаф. Потом подойдите ко мне.

Варламов слушался ее как школьник. У мамы появились пролежни! Теперь кожа будет сходить, рана не заживет, потому что кровь застаивается, и потом мама заставляет его отворачиваться, когда берет судно. Оно тяжелое, мама ослабла, простыня все время будет мокрой, живое мясо начнет гнить, и ничего уже нельзя сделать. Варламов знал, что так будет, но все-таки надеялся, что

письмо поможет и сюда придут нянечки. Но чудес на свете не бывает. Варламов подошел к сестре. Она повернула голову:

— Сейчас вы поможете мне — вымосте пол в двух палатах. Я бы женщину, конечно, попросила бы, но в наше отделение пускают только вас.

Варламов понял, что спорить нельзя.

* * *

Светило солнце. Варламов открыл глаза. Поразила никчемность всего — и солнца тоже. Но он тут же стал убеждать себя, что все еще выправится. Надо скорей к маме. Она ждет. Он нужен ей. А кому он еще нужен? Трезво посмотреть — без этих эмоций — она обречена. Что, кто у него останется? Его пугала эта пустота. Он решил вечером зайти к Нюте. Не видел ее уже три недели, но был уверен, что она молча надеется, ждет его.

* * *

В глазах мамы стояли слезы. Варламов не мог представить, как она терпит такую боль. Он повернул ее и смазывал раны мазью.

— Дима, скажи, что у меня там?

— Ничего, мам, мы это вылечим. Полежи так немножко, чтобы подсохло.

Он научился один менять простыни. Мама уже восьмой день не ела ничего. Только пила. А пить нельзя. Когда его не было, она часами лежала мокрая. Кожа расползалась все больше. Растяжку сняли и даже как будто забыли о ноге.

— А они большие?

Варламов подумал, как ответить.

— Ну, с одной стороны похоже на Австралию, а с другой — на Англию.

Мама была верна себе. Спросила со смешком:

— А Америки там нет?

Силы Варламова уходили. Он сначала просил разрешения оставаться около мамы ночью, ему не позволили, потом он понял, что домой все равно надо ходить. Больница угнетала его. Дома за ночь он немного приходил в себя и с утра, улыбаясь, появлялся перед мамой, спешил сделать все дела. Много времени отнимала помощь другим больным. Мама иногда начинала сердиться, что он отходит надолго. Он не мог себе представить, как она будет без него, когда он выйдет на работу. Правда, тетя Шура обещала помочь.

— Мама, надо есть, а то совсем заболеешь. Ну, чего бы ты хотела, придумай.

Она смотрела на него напряженно. Она не привыкла от кого-то зависеть, а теперь она целиком зависела от него. Сначала это ее мучило, теперь она привыкла и даже начала немножко капризни-

чать. А он, незаметно для себя, стал относиться к ней, как к ребенку. Ухаживая за ней, он понял, что был бы неплохим отцом.

— Дима, купи мне мороженого.

* * *

Варламов уже пятый раз набирал Нютин телефон. Все время было занято. Наконец раздался длинный прохладный гудок.

— Нюта, здравствуй, это я.

— Здравствуй, Митя.

— Можно я приду вечером?

Она слишком долго молчала, потом сказала:

— Приходи. Мне уже давно надо поговорить с тобой.

— У меня мама заболела. Очень серьезно.

По его голосу она поняла, что это правда.

* * *

Дверь она открыла сразу, как будто стояла около нее.

— Проходи. Ботинки можешь не снимать.

Варламова это насторожило больше, чем ее молчание по телефону. У нее был новая прическа.

— Знаешь, Митя, я решила поставить точку.

Он замер от удивления. Потом нахлынула обида.

— Ты выбрала для этого удачное время...

— Прости, но меня больше не интересуют твои несчастья. У меня у самой их достаточно. Ты не звонишь неделями, потом приходишь и требуешь жалости. А ты мне никто — ни друг, ни жених, ни любовник. Никогда не дарил мне ничего. Игорь спрашивает о здоровье моей дочери, а тебя даже мое не интересует. Ты считаешь, что я для тебя неподходящая партия — образования нет, зато есть ребенок, да?

Он смотрел на нее и не мог понять, откуда у нее столько злобы. Она всегда была олицетворением деликатности и такта. И вдруг — такой всплеск. И так не вовремя. Он вышел в прихожую и стал одеваться. Она стояла в дверях.

— Я была тебе удобна, только и всего. В том-то и дело, что я у тебя была, а тебя у меня не было.

Он вышел, тихо притворив засобой дверь. Больше всего его удивил ее бессердечный эгоизм.

Нюта поставила не точку, а восклицательный знак.

Он ждал, что через час она опомнится и позвонит. Звонка он ждал и утром, не дождался, позвонил сам. Она была дома, ее голос всегда волновал его, а сейчас у него даже пересохло во рту.

— Нет, Митя. Не хочу больше. Не могу.

Помолчала. Он заспешил:

— Но мне плохо без тебя.

Она молчала. Он выложил козырной туз:

— Нюта, выходи за меня...

— Поздно, Митя. Я так ждала этого раньше. Поздно.

— Но почему?

— Я тебя уже не люблю. Даже хуже. Извини.

— Как это — хуже?

И тут она его ударила. Она не хотела этого, просто столько было обид, ожидания, разочарований. А теперь он ей казался маленьким-маленьким и совсем не мужчиной, даже не человеком. Ничтожеством. — Презираю.

Она повесила трубку, подумала немного и рассмеялась. Рабство кончилось. Она выздоровела. Осталось только чувство жалости к себе. Эти четыре года были вычеркнуты из жизни. Она вспомнила, что перед этим еще три года пропало. Жизнь становилась все короче.

* * *

Мама ела мороженое, жадно открывая рот.

— Шербет!

Она ловила ртом ложку, благодарно смотрела на Варламова. А у него было ощущение утраты. Он думал о том, как часто мы не хотим утруждать себя мыслями, и как только в голову приходит извечное: «А зачем я живу?», мы сразу спешим начать делать что-нибудь, может быть действительно необходимое, но все же то, что можно было бы и отложить.

Вчера он был у Игоря, встречали Новый год. Варламов пришел поздно, после полуночи — сидел с мамой, они вспоминали все, как будто прощались, мама сказала:

— Димочка, как же хорошо мы с тобой жили!

И вот во время всеобщего веселья он как будто увидел все эти лица уже мертвыми, разлагающимися, но тут же инстинктивное чувство — почему-то его называют чувством юмора — заставило его смеяться над собой и вместе со всеми. Чувство юмора спасает человека от самого себя.

Придя домой, он запел во весь голос и старался вдумываться в слова песни.

Сначала все было как всегда. Знакомая веселая компания, уже хорошо выпившая и закусившая, обрадовалась ему, спрашивали про маму. Варламов расслабился, и, неожиданно для себя, выпил штрафную. Обычно он пил очень мало, и этот фужер произвел на него огромное впечатление. Как будто растаял ледяной ком в груди. Как будто все еще будет хорошо. Какая-то девушка пригласила его танцевать, он пошел, потом они курили с ней на кухне, потом опять плясали. Потом Варламов устал, сел в уголке на диван, прислонился к спинке. Игорь подошел, сел рядом, наклонился:

— Восточная мудрость гласит: «Виноград приносит три грозди: первая — удовольствие, вторая — опьянение, третья — неприятности». У тебя — вторая?

— Да, кажется.

Внезапно он почувствовал неприязнь к Игорю.

— Ты знаешь, я понял, что есть множество вариантов любой жизни, и мы сами выбираем свой. И живем.

Он увидел глаза Игоря. Они были холодными.

— Что-то не пойму, Митрич, о чем ты. Знаешь еще одну точную мудрость? «Человек, делающий других несчастными, не может сам быть счастливым».

Варламов рассмеялся, но как-то ненатурально. Игорь смотрел на него в упор. Потом сказал:

— Играешь? Не того выбрал. Это игра на женщин. Я-то тебя хорошо знаю. Твоя жизнь без вариантов.

Варламов ждал продолжения, но Игорь молчал.

— Договаривай.

— А что тут договаривать? Такие как ты, живут, ничем не жертвуя. Ну да, конечно, мать умирает. Но ты ведь и сейчас жалеешь не ее, а себя — кто тебе будет суп варить?

Варламов даже задохнулся:

— Неправда!

— Правда. Поэтому ты и к Нюте вчера ходил. Теперь тебе нужна другая домработница.

— Как ты можешь? Это низко.

— Низко видеть в Нюте только «вариант».

Игорь отвернулся, подошел к окну. Варламов молчал. У него мелькали слова: лицемерие, ханжество, предательство. Вот!

— Ты предатель.

— Меня не интересует, что ты обо мне думаешь. И не надо громких слов, нас никто не слушает, так что побереги их.

Варламов понял, что и из этого дома он уходит навсегда.

* * *

Мама была в тяжелом забытии. Она гасла.

Тетя Шура пришла, как обещала. Они вышли в больничный коридор.

— Димочка, я посижу, не беспокойся. Ты иди, работай. Я взяла два отгула, как раз до субботы. А в понедельник еще что-нибудь придумаем.

— Спасибо вам. Вы позвоните мне на работу, если что, ладно?

— Да ничего не случится, я уверена, она еще бегать у нас будет.

Утешения были настолько жалкими, что Варламов даже сморщился: — Не надо, тетя Шура.

И зашагал, не оглядываясь, по коридору.

* * *

Как только он вошел в свою комнату, все сразу повернулись к нему.

— Дмитрий Дмитрич, вас начальник вызывал. Только сейчас звонил.

Варламов шел к шефу и думал, может, удастся взять несколько дней от отпуска. Наверное, его и вызывают, чтобы все оформить.

Шеф был мрачен как туча. Он тяжело посмотрел на Варламова и медленно сказал:

— Вы брали деньги у директора овощной базы? Только не отвечайте сразу, подумайте.

Варламов остолбенел.

Шеф взял со стола бумагу.

— На вас получена жалоба, в которой сказано, что вы, обещая закрыть дело, взяли у тов. Липунова В. В. тысячу рублей. Но обещание не выполнили и вместо вас дело стал вести другой сотрудник. Так брали вы эти деньги?

Вот тебе и «лопух»!

— Нет.

— А почему передали дело Красову?

— Сергей Степаныч, у меня заболела мама и, как сказал мне Игорь Красов, вы сами пошли мне навстречу и разрешили несколько дней побыть с ней. Красов взял материалы, которые я привез из командировки, чтобы все закончить.

— У вас есть бюллетень по уходу?

— Нет, мама не дома, в больнице.

Шеф нахмурился еще сильнее.

— Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Хорошо, когда все хорошо. Я-то вам верю. Но стоит закрутиться этой бумаге, пойти по рукам, мне будет паршиво, а вам еще хуже. Послушайтесь моего совета, уходите сами. Прямо сейчас вот напишите заявление задним числом, а я подпишу.

* * *

Зеркало в вестибюле отражало его. Он смотрел на себя и не узнавал — большая голова, короткие ноги, жалкая улыбка. «Так вот каким я стал!» — ужаснулся он. И только на улице вспомнил, что это зеркало — кривое. И теперь Варламов изумился, как легко он поверил в свое превращение и согласился с ним.

Дома, открывая дверь, он услышал телефонный звонок, заспешил и никак не мог повернуть ключ. Когда же, наконец, справился с дверью, звонков уже не было. Варламов попил воды и сел на табуретку около телефона. Нюта должна перезвонить, она всегда звонила несколько раз. Телефон опять ожил. Плакала тетя Шура:

— Димочка, приезжай скорей. Отходит она. А тебя нет и нет...

* * *

Мамина сильная рука в коричневых веснушках беспомощно перебирала складки одеяла. Тетя Шура прошептала:

— Обирается...

Вошел врач, стал что-то говорить. Варламов услышал только: — ...общая интоксикация организма...

Он вышел на лестницу, достал сигареты. Поразила простота смерти. Перестала дышать — и все.

* * *

Он ехал на эскалаторе, когда вспомнил, как разговорился случайно с парнем, тот оказался милиционером, работающим в метро. Он сказал, что на их станции иногда кто-нибудь попадает под поезд. Мгновенная смерть, спасти невозможно.

Поезд шел по туннелю, был уже виден свет его прожекторов. Варламов подошел ближе к краю. Ему казалось, что он похож на то самое стекло в полузабытом кинофильме, по которому стучали молотком и били ногами, а разбил его случайно брошенный коробок спичек.

* * *

Одних я помню хорошо, других почти забыла, но и они, как из тумана, выплывают из памяти. Они все требуют:

— Расскажи! Ты же нас знаешь. Расскажи про нас. Расскажи, как мы жили в мирное, спокойное, позорное время среди бездушия и вранья, и никому не было до нас дела. Мы уйдем, — и ничего не останется. Хоть ты Расскажи про нас.

У нас отняли то, что делает жизнь осмысленной и счастливой. Кто приспособился, кто нет. Мы жили, как умели. Ты же видела. Расскажи!

Только не пытайся обвинять и не пробуй учить. Это — не твое дело. Расскажи правду, и хватит с тебя.

— Я не сумею. Я не знаю, как.

— Научись.

— Этому нельзя научиться. У меня не получится ничего.

— Может, и не получится. Ты попробуй.

— Да что мне, больше всех надо? Есть другие, пусть они и рассказывают.

— Другие расскажут другое. А ты про нас Расскажи. Считай, что ты нам должна. Только ты запомни одну вещь.

Я знаю, о чем они. Я ее запомнила, эту вещь.

Вот она — я. В школьной форме, концы галстука свернулись трубочкой. Учю уроки.

— Пап, проверь! ... «Что в мой жестокий век восславил я свободу, — весело читаю я. — И милость к павшим призывал».

— Подожди, конопатый. К кому — милость?

— К павшим.

— Павшим ничья милость уже не нужна. К падшим.

— К падшим, — недоверчиво тяну я. — А чего их жалеть?

Я чувствую, как изменилась строка. Привычно-приподнятые, торжественные слова приобрели вдруг темный, тревожный, царапающий смысл.

Мне не нравятся такие стихи. Мне нравятся стихи звонкие и ясные, как те, которые я недавно читала на утреннике.

— Ну-ка, послушай еще раз, — Мне непонятно, почему папа так серьезен и почему упирает так на слово «жестокий».

— Это про крепостное право, — догадываюсь я.

— Тогда эти стихи и умерли бы вместе с крепостным правом.

— А каких же тогда еще падших? У нас же сейчас падших не бывает. А жалеть — стыдно. Надо не жалеть, а перевоспитывать.

— Жалеть не стыдно, — говорит мой отец. — Стыдно быть равнодушным и жестоким. А насчет свободы...

Появляется мама:

— Толя, ты соображаешь, что ты говоришь ребенку?

— Ладно. Ты тогда давай вот что: эти стихи запомни хорошенько. А поймешь — потом. И про падших, и про свободу.

— И про жестокий век?

— И про жестокий век.

Я запомнила.

А теперь вот они все смотрят на меня и требуют, чтобы я сказала.

МИНУТА ТИШИНЫ

Приютил его неразборчивый Ванечка, познакомились у винного на горке. Сказал он Ване, что командировочный и что звать его Володя.

Разглядел гостя Ванечка только у себя дома: у магазина было темновато. Володя этот оказался довольно молодым еще мужиком. Крепкий, волосы светлые и одет по моде: в джинсах и куртка японская. Был бы Ванечка потрезвей да повнимательней, отметил бы он Володину лениво-настороженную походку и неподвижный, в упор, взгляд очень светлых, прозрачных прищуренных глаз. И руки. Но руки незнакомец все больше держал в карманах.

Пожаловался Володя, что с гостиницами в столице глухо, пришлось ему прошлую ночь на вокзале ночевать. Пожалел, что в квартире нет ванной, но ключ от общего душа — отказался, не взял. Скинул рубаху, тельняшку и долго с удовольствием плескался под краном в крохотной кухне-прихожей. Свет он в кухне погасил, сказал:

— Боюсь, сглазишь, — а когда растирался полотенцем, намотав концы его на кисти рук, Ванечка, с уважением глядя, как перекатываются под очень белой кожей гостя литые мускулы, спросил:

— Ты каким видом занимался?

Володя посмотрел на Ванечку долгим прозрачным взглядом и вежливо ответил:

— Боксом все больше. Бегом тоже. Слышал: «бегом от инфаркта»?

В тот вечер Ванечка быстро вырубился, а когда проснулся с больной головой, незнакомец Володя сидел за столом в своей японской куртке, шапку держал на коленях, курил и в упор смотрел на Ванечку.

Какой ни был Ванечка больной, а стало ему не по себе что-то.

— Ты уходить, что ль, собрался?

Володя нагнулся, достал из-под стола бутылку и налил Ванечке полстакана:

— Поправься.

Ванечка благодарно выпил. Сразу захорошело, ушло беспокойство, и Володя показался ему таким же симпатичным и душевным, как в прошлый вечер.

— А скажи отец, — спросил Володя, — есть в вашем кельдипе хаты свободные?

Ванечка растерянно заморгал. Володя перевел:

— Квартиры, вот как твоя, есть здесь, в каких не живут? Ну, в отъезде хозяева или где. Только чтоб не выше второго этажа.

Ванечка спросил:

— А зачем тебе?

— Я говорю, есть или нет? — еще раз медленно и неуютно как-то повторил Володя. И посоветовал серьезно: — Ты отвечай, когда спрашивают.

Ванечка стал вспоминать:

— Есть, — неуверенно глядя на Володю, вспомнил он. — В одной бабку к себе родня забрала, съезжаются сейчас. И 69-я, там баба вообще раз в год по обещанию является. Ждет, пока на нормальные квартиры расселят. Замок прям амбарный на двери повесила. Только не сдаст она, да и где ее найдешь?

— Когда она была? — спросил Володя.

— Не знаю, вроде осенью я ее видел. Да у ней и нет там ничего. Подойдет, замок проверит, — и хорош, уходит.

— Этаж какой?

— Второй.

— От лестницы близко?

— Я говорю, не сдаст она.

— От лестницы близко? — раздельно повторил Володя.

— Сейчас, дай сообразить. Вторая дверь от лестницы.

— Значит так, отец, — неторопливо и жестко сказал Володя, не сводя с Ванечки своего прозрачного взгляда, — я там поживу, а ты мне помогать будешь. Собери мне сейчас постель и чего там еще понадобится. Потом в магазин пойдешь насчет поесть. В магазин ходи в другой, подальше, где не знают тебя, — Ванечка хотел что-то сказать, Володя не обратил внимания, продолжал, как гвозди вбивая слова: — Придешь, объясню, как и что будешь, — вынул прямо из кармана куртки два четвертных, положил на стол: — На хозяйство, — вынул еще два, положил рядом, пояснил: — Задаток. Будет больше, — и не отрывая взгляда от Ванечки, добавил:

— Но учти, отец, не дай те бог... — и достал из другого кармана такую штуку, что у бедного Ванечки глаза на лоб полезли.

Пол и подоконник в чужой комнате были покрыты толстым ровным слоем пыли. На окне торчал из зеленой эмалированной кастрюли остов давно засохшего цветка. Слева от окна — диван,

прикрытый пожелтевшими газетами. И еще в углу табуретка. Все.

Володя, неслышно ступая, подошел к окну, посмотрел сквозь немытое стекло на заметенный снегом газон и кивнул:

— Годится.

Заглянул в туалет, увидел пересохшую половую тряпку на трубе, тихо сказал:

— Порядок. Иди, я тут сам. И помни, отец...

Ходил по квартирам участковый, проверял документы, показывал заодно в каждой квартире фотографии двух особо опасных преступников.

Коля Степанов бродил по коридору от двери к двери.

Останавливались у выхода на лестницу старухи, судачили, опершись спинами кто на стенку, кто на дверь нежилой 69-й квартиры.

То там, то здесь вспыхивали ссоры. Раз под выходной драка случилась капитальная, милиция приезжала, еле разняли.

Две недели без одного дня прожил в 69-й квартире Володя. Может и был он тем человеком, которого искал участковый и которого ждал Коля Степанов. Таким позарез нужным Коле человеком, чтоб мог Коля оправдать свою жизнь и доказать всем, а себе первому, что не врал он, а правду говорил.

Все может быть. Только жил Володя у всех под самым носом, и никто не догадался ни о чем. И никто ничего не узнал от до смерти напуганного Ванечки.

Первые дни он с наслаждением отсыпался на чистых простынях, что принес ему верный Ванечка. На четвертое утро открыл глаза и понял, — все, выпался.

По коридору бухали, шаркали, пробегали мимо его двери шаги. Иногда шаги затихали совсем рядом. Володю это не сильно колыхало. Он знал, если что, он успеет. Даже если дом оцеплен — успеет. Все он продумал. Опыт — вещь великая.

Что бы он ни делал, он никогда не отключался полностью, даже во сне. Жил в его мозгу сторож, давно уже жил. Стерег Володю, всегда готовый дать сигнал тревоги. Не было бы сторожа этого, давно бы Володе концы навели. Не чужие — так свои, а навели бы, рупь за сто.

Сторож в мозгу не дремал — работал. А сам Володя отдыхал. И серьезно обдумывал, чем бы ему занять себя в эти свои неожиданные каникулы.

Жизнь вспоминалась Володе бесконечной дорогой. Вагоны лязгали буферами, колеса перестукивали на стыках. Шуршали по ровному шину или мотор ревел, преодолевая колдобины и ямы.

То сам он ехал, то везли его. То сам спешил куда-то, то шагал в тесно сбитом строю. И вот остановился. Отдыхает.

Ванечка приходил, как договорились, через день, и вместе с едой приносил газеты и журналы, покупал в киоске у того, даль-

него магазина, куда он теперь ездил на трамвае. Еще Ванечка принес две книжки, больше у него не было. Третью, потрепанную и без начала, Володя нашел здесь, на кухонной полке.

Все книги были для Володи сказками, и он принимал их занимательные или поучительные сюжеты без зла и раздражения, хоть и считал их никак не связанными с той жизнью, что вокруг. Сказки, они сказки и есть. Для развлечения души.

Когда-то, по молодости еще, он задумывался, что это может быть за народ такой — писатели. Ни хрена не делай: не сей, не паши, не рискуй, — сиди себе, выдумывай, а тебе за это и авторитет, и деньги. И ништяк, наверное, деньги, неслабые. Чудно! Вот они сказки и пишут, за правду кто ж заплатит?

Но и занятное кое-что попадаетеся в книжках.

Вот в одной он прочитал и запомнил такое: «Счастье — это минута тишины перед тем, что тебя ожидает». Не хреново сказано. Значит, у него сейчас счастье. А чего? Чем не счастье?

Но счастьем этим попользоваться надо с толком. Спать — хорошо, надоело. Книжки, газеты — это пока светло. А темнеет в пять.

Оставалось развлекать себя воспоминаниями. Хотелось неспешно вспоминать такое, чтоб душа отдохнула. Чтоб не связанное с той жизнью, из которой он выпал сюда и в которую снова вернется. Того не стоило. Отдых есть отдых.

Как завертела его карусель эта лет двадцать назад, малолеткой еще, — так и пошло крутить, не остановишь. По первости казалось заманчиво все, интересно. Обрыдло давно. А куда денешься? Надо жить — и он живет.

Совсем уж недавнее вспоминать тем более не хотелось.

Снег в роще у кольцевой дороги был слежавшийся, плотный, ковырять — себе дорожке встанет, да и нечем. Они с Карзубым ломали ветки и кидали их охапками в неглубокую яму с заметными, скругленными снегом краями. Выстрелами трещали ломающиеся ветки, и от каждого такого выстрела Карзубый дергался, тоска смотреть на него, послал бог помощника. И каждый раз, как подходишь к яме, кажется, что сквозь перекрестья уже сваленных черных веток белеет, светит из-под них в сумерках мертвое лицо.

— Может, подождем? — голос у Карзубого прыгал.

— Может, и пожарку вызовем? — сквозь зубы отвечал Володя. — Не... Снег пойдет — все прикроет.

Не дело это. Надо себя занять.

Что же вспомнить такое? Вспомнить, как раньше отдыхал?

Дорога от Адлера, пыльные пальмы с волосатыми стволами, непривычно, сами по себе, без кадок, растущие вдоль шоссе. Запах шашлыка и кинзы. Огромное, неприветливое, бесприютное пространство — море, которое он не любил и которому не верил.

Ночи, не приносящие прохлады, неподвижный, горячий черный воздух за настезь открытыми окнами.

Лабухам — стольник. «Сыграй, командир, «Ах, Одесса».

Херня все это. Только малолеткам и интересно. Или придуркам каким, кто приבלатняется.

Что еще? Баб он не любил и тоже, как морю, ни на грош им не верил. Все бабы, что встречались на его пути, слились в памяти в одно существо: дерганое, шепутное, неопрятное и истерично-ложное. Были и другие — дуры, от них он старался держаться подальше. Может, были и какие еще, третьи, проходили рядом в уличной толпе, протискивались мимо в переполненном автобусе к выходу? Может, и были, — да и хрен с ними. С него хватило тех, каких знал, и мало не кажется.

Память скользила, ни за что не зацепляясь.

Надо найти, вспомнить, а то мысли всякие ползут, пить придется. Замаячит сквозь черные ветки белое мертвое лицо. Тоже, сам виноват был покойничек. Сам — не сам, а он-то, Володя, не Господь Бог, чтоб решать, кому жить, кому — не стоит.

Ладно. Что еще осталось?

Детство. Давно это было. Тогда и звали его не Володей, а по-другому. Только и тут не вспоминалось что-то ничего путевого.

Длинный коридор пахнет мелом, краской и дезинфекцией. Мельтешит перед глазами, орет на разные голоса — переменка.

На уроках учительница Нина Евгеньевна ставила его перед классом к стенке, а он корчил рожи, когда она отвернется.

Нина Евгеньевна эта была красивая. Одевалась на каждый день лучше, чем его мамка в праздник. Под ее умным, насмешливым взглядом он чувствовал себя жалким, маленьким и грязным.

Она нравилась ему, и обидно было, и хотелось кому-то объяснить, что вот она такая умная и красивая, и пахнет хорошо, а наплевать ей на все, только посмеивается. Но он не знал, как это сказать словами, и кому. И долго ковырял гвоздем на твердом деревянном подоконнике непривычно длинные слова, — не по краске царапал, а врезал в дерево, чтоб надолго, чтоб все прочли, и не закрасишь: «Нина Евгеньевна праститутка».

Вспоминались еще гаражи, сарай, помойки, кривой тополь под окном, закоулки старого московского центра, глухие и гудкие подворотни, обдающие застарелым запахом мочи. Голубятня, а рядом на высокой крыше машет шестом свирепый голубятник Наташа. Тогда он еще не знал, за что дается кликуха такая.

И вспомнилось почему-то, как не пропускали они через свой двор после второй смены пацанов из соседней школы. Как ждали их, затаясь у помойки. И он, самый маленький, первый раз с кодлой. Сердце замирает, а на правую руку, как у всех, намотан ремень от школьной формы тех времен, и пряжка наготове, начищенная мелом пряжка с гербом Министерства просвещения.

Мать вспомнилась. Как провожали они с бабкой ее темным сырым вечером на Ярославском вокзале. Мать в сбившемся платке то нервно смеялась, то сразу начинала плакать. Не стоялось ей на месте, все переступала, пританцовывала высокими ботинками и все повторяла:

— Сыночка, ты бабушку слушай. Вот обустроимся там, — приеду, заберу тебя.

А в сторонке стоял, дожидаясь ее чужой мужик и, если смотрели на него, скалился по-лошадиному. Думал, видно, что улыбается.

Долго потом, класса до четвертого, все он верил, дурак, что правда приедет, заберет.

Володя выругался и с силой вдавил в блюдце папиросу. Вот ведь жизнь бекова, вспомнить нечего прилично.

И к вечеру, когда он отчаялся уже, внезапно всплыло в памяти то, что стоило вспоминать.

Еловый лес. Не чужая, серьезная тайга, а светлый и ласковый лес — подмосковный.

Бабка его тогда год почти продержалась, работать пошла уборщицей в какой-то институт, а его отправила от этого института в пионерлагерь.

Там у него тоже не было имени. Там его звали Киселев.

— Киселев! — кричала ему вожатая. Лера ее звали. Лера-холера. Тоже, детство золотое, придумали кликуху. Она ведь неплохая была, Лера эта, не запомнилась почти, — значит, не лезла, не встревала, не обижала зря. А чего еще надо-то?

Вспомнил он свою первую встречу с настоящим лесом.

Его слегка укачало от непривычно долгой езды. Он выпрыгнул из автобуса и стоял на нетвердых ногах. Его подталкивали в спину, говорили что-то, — он мешал, стоял у всех на дороге. Но Киселев не обращал внимания. Перед ним, отделенный от него песчаной площадкой, рос настоящий лес.

Киселеву нравились деревья, но он мало их видел. Во дворе дома, где прожил Киселев все свои семь лет, из асфальта в небольшом квадрате сухой неприютной земли рос огромный кривой тополь. Жильцы узнавали по нему время года. Киселев любил тополь, особенно весной и летом, и плакал, когда тополь зачем-то безжалостно обкарнали, оставив уродливый, почти без ветвей комель. Тополь был свой, домашний, почти и не дерево даже.

Возле школы росли кусты и тоненькие прутьки саженцев. Там было повольнее, но все равно островки зелени стиснуты, зажаты со всех сторон домами. Они манили, но не принимались всерьез.

Киселев успел уже кое-что увидеть, пока ехали сюда. Окно автобуса было загорожено круглой стриженной, плюшевой головой с широкими торчащими ушами. Этот малый и в окно-то не смотрел, жевал всю дорогу. А с места не сгонишь, — здоровый. Киселев напряженно глядел, как почти занавешенные этими раски-

дистыми ушами, далеко за стеклом проплывают перелески и березовые рощи. Они были удивительные, но не настоящие, — недоступные. Они плыли, как на экране в кино, не успеваешь зацепиться взглядом, и нельзя рассмотреть, потрогать, понюхать.

Теперь в нескольких шагах от Киселева начинался лес. Много толстых, стройных, шершавых стволов, из которых, ошестинившись, торчали сухие серые, острообломанные ветки. А далеко вверху к самому небу тянулись могучие темно-зеленые кроны. Кое-где на концах веток хвоя была светлее, цвета травы под солнцем, и с этих веток свисали гроздья крепких даже на вид розоватых шишек.

Киселев медленно сделал шаг, другой, обернулся через плечо и неуверенно вошел в лес.

Сразу стало темнее. Всю землю под ногами устилала скользкая ржавого цвета хвоя. На ней часто разбросаны были шишки, но не такие, как наверху, не живые — деревянные.

Киселев смотрел, как с трудом пробиваются сквозь кроны широкие солнечные лучи, чем ниже, тем шире и мутнее они становились, и пятнами ложился их свет на стволы, почти не достигая земли. Только дальше, прямо перед ним, проходила неглубокая канава, поросшая бледной густой травой. Она была неожиданно светлой, выхваченной у леса падающим на нее солнцем.

По шершавым стволам текли неровные дорожки: рыхлые, сахарные или застывшие, медово-прозрачные. Киселев осторожно протянул руку. Пальцы стали липкими, и за ними от ствола потянулись блестящие, тонкие, не прерывающиеся нити. Киселев отдернул руку, — нити порвались, и пальцы склеились друг с другом. Пальцы были несладкими, терпкими, с сильным привкусом словых иголок. «Смола», — замирая вспомнил слово Киселев.

За бледно-солнечной полянкой возвышался холмик. Большой, по пояс, наверное, Киселеву. Холмик был сложен из коричневых игл, а дальше стоял еще один, повыше. Интересно, кто это их сложил и зачем. Надо пойти посмотреть. Только вот непонятно, что это шумит наверху.

Киселев задрал голову. На невозможной высоте, там, где солнце освещало зеленые могучие вершины, гулял ветер. Он легко, как траву, качал их, и вершины беспокойно шумели.

— Киселев! — кричала вожатая Лера. — 4-й отряд, строиться! Киселев!

Володя удивился, что так хорошо все помнит. Где-то, значит, лежало все это в памяти, дожидалось своего часа почти 30 лет, — и дождалось. И не поблекла, не стерлась за всю его пеструю, жестокую, беспокойную жизнь яркость того далекого лета. Только покрылось все легким налетом сегодняшней горечи, будто видишь сквозь запотевшее стекло. Но это не мешает смотреть. И он смотрел.

Теперь Володя был при деле. Вставал, высыпаясь впрок, когда уже начинало светать, и одно за другим гасил окна в доме напро-

тив. Завесив входную дверь Ванечкиным одеялом, умывался и от души готовил поесть. Просматривал газеты. Книжки так себе попались ему. То, что он сам для себя придумал, оказалось куда интересней. Иногда даже при свете дня, когда спокойно можно было еще почитать, он откладывал книгу и начинал гибко и бесшумно ходить по комнате, время от времени присаживаясь на диван с аккуратно сложенной в головах постелью и закуривал. Потом снова принимался ходить. Сбоку, чтоб не видно было с улицы, смотрел в окно. Ивы не понравились ему с самого начала. Ненастоящие какие-то. Вот на речке у них росли ветлы...

Пионерлагерь стоял на высоком берегу. К речке надо было сбежать по узкой крутой тропинке, вьющейся среди густого малинника, сквозь который пробивались, вытягиваясь иногда выше кустов, злобные хлысты крапивы с сероватыми, как мукой обсыпанными сережками.

И вдруг, когда надоест уже петлять по кустам, словно почувствовав, что—все, надоело, тропка резко расширялась, становилась песчаной и пологой, малинник отступал, и сквозь редкую светлую ольху с мелкими листьями, измазанную клочьями липучей паутины, виднелась неширокая река. Темная поверхность ее серебристо поблескивала под солнцем.

Противоположный берег был песчаный, туда переплывали старшие. А на их берегу трава подходила к самой воде, и это каждый раз заново удивляло Киселева. Недалеко от тропинки дерн у кромки берега срезан лопатой и оделаны две скользкие и влажные глинистые ступеньки. Здесь купались малыши.

Сверху жарило солнце, они смеялись и брызгались, зайдя по колено. Брызги обжигали разогретое солнцем тело, ноги под водой становились странно невесовыми, и так трудно было заставить себя окунуться в первый раз.

Володя никогда не думал о детях, о сыне, для которого это могло бы повториться. То, что он помнил, было только его, и вместе с ним уйдет. В голову не приходило, что он мог бы вновь, наяву пережить все это, глядя, как неумело барахтается в воде его сын.

В реке было много раков, говорили что в войну они развелись. Старшие их ловили, а малыши смотрели.

Но одного рака Киселев поймал сам. Сам выследил его под берегом и бесстрашно схватил с боков за панцирь. И, наверное, таким радостным и гордым был Киселев, так охранял он рака, беспомощно и воинственно щелкающего хвостом на траве, что вожатая Лера разрешила взять рака с собой и держать в большой банке на террасе.

После отбоя Киселев долго дожидался, пока утомонятся все, сам чуть было не заснул, но заставил себя подняться и босиком пошлепал на террасу посмотреть, как там его рак.

Раку было худо. Он напелзал грудью на прозрачные стенки

банки, срывался, оскальзываясь, всей тяжестью подал вниз и снова полз, шаря клешнями по стеклу.

— Ему же душно, дурак! — обругал себя в отчаянии Киселев. Ему нужна вода, и не ржавая из умывальника, и не из бачка, там кипяченая, а только из речки. Он может совсем задохнуться до утра. И потом, как же теперь спать, если знаешь, что в банке задыхается рак?

А все спали. Спала в девчачьей палате вожатая Лера, и начальник лагеря, наверное, спал, и спала его усатая жена.

Киселев стоял над банкой и горько плакал. Потом вытер сопли, взял банку и, пригибаясь, стараясь держаться в тени, как был босиком, побежал через лагерь к калитке, что вела на речку.

Он и сейчас помнит, как белела в темноте тропинка среди кустов и что-то остро поблескивало в крапиве. Слышит глухой топот своих босых ног по земле, не остывшей еще от дневного жара, слышит, как сердце стучит в ушах.

Ярче всего он запомнил свой страх. Все было страшно, и кто-то, у которого много глаз, притаился в кустах и следил за Киселевым. Но больше всего он боялся, что его поймают и отправят с позором домой к бабке, в город. Это было бы хуже всего.

Над берегом плотными полосами низко висел туман. Туман тоже испугал его. Киселев сначала не понял, что это такое.

Чтобы спуститься к реке, надо было решиться и войти прямо в туман. Киселев постоял, глубоко вздохнул и пошел, зажмурившись, как входил в воду.

Присев на корточки, Киселев нашарил в банке рака, осторожно вынул его и зачерпнул воды. Посадив рака обратно, он набрал со дна песка и сорвал пучок скользких длинных водорослей, они тянулись в неожиданно теплой реке куда-то под берег, и, отрывая их, Киселев подскользнулся и чуть не свалился в черную глубину.

И еще запомнил он ни с чем не сравнимое гордое и усталое торжество победителя, когда он поднимался неторопливо по тропинке, прижимая тяжелую банку к груди и холодными шлепками расплескивая невидимую воду.

Снова он стоит на терраске над банкой, поджимая озябшие, измазанные в глине ноги. А все так и спят, и они одна живая душа не узнает, что повидал сейчас Киселев.

Натыкаясь в темноте на железные спинки чужих кроватей, он с трудом нашел свою и уснул, как провалился.

Рак жил до конца ммены. А на закрытии лагеря они с Лерой отпустили его в речку.

Как интересно умывался он! Смехатура. Володя улыбнулся в темноте: «то оттуда, из детства выплыло совсем забытое словечко — «смехатура». Никто не поверил бы, что раки так умываются. Он и сам бы ни за что не поверил, если бы не видел. Глаза у рака на черных стебельках. Рак оттягивал клешней один глаз на длинном стебельке и протирал его второй клешней, серьезно глядя другим глазом на свою работу.

Одно воспоминание тянет за собой другое, но спешить не надо, пусть на подольше хватит.

... Очень тревожил его всегда осинник за баскетбольным полем. От прямых зеленоватых стволов, от седых трепещущих листьев шел какой-то неясный, беспокойный свет. Внизу был высокий, тоже белесый мох. Как-то Киселев нашел во мху два подосиновика в бледных шапочках, плотно натянутых на толстые, с березовым узором ножки. На изломе они стремительно розовели, а потом, проходя через фиолетовый цвет, начинали густо, до черноты синеть.

Или вот дорога. У них необыкновенная была дорога. Где Володю ни носило потом, никогда больше не встречалась ему такая.

Дорога шла к лагерю от шоссе через гороховое поле /это отдельно надо вспомнить — гороховое поле/, потом дорога расклевала лагерь надвое и обрывалась у линейки. Была она залита варом, а поверх сплошь набросаны речные камешки. Одни плотно вошли в вар и стали вровень с дорогой, вбитые сотней маленьких ног и шинами лагерной полуторки. Другие выступали над полотном или свободно были набросаны сверху.

Больно было ходить по этой дороге босиком, а в жару и прилипнуть можно, пятки потом не отмоешь: вар между камешками плавился, вздувался коричневато-черными пахучими пузырями.

Киселев очень любил собирать там камешки. Иногда попадались таинственные «чертовы пальцы». Пацаны говорили, что в грозу они падают с неба. Если наберешь десять — будет тебе счастье. Киселев за лето набрал двенадцать.

Особым удовольствием было собранные камешки колоть. Занимались этим обычно после завтрака, когда по отрядному плану надо было убирать территорию вокруг своего домика.

Наломав в орешнике свежий веник, можно немножко помести вокруг себя. Поднятая пыль висит над ними облаком: другие тоже метут и тоже норовят, подметая, незаметно приблизиться к дороге. А там надо найти тяжелый камень, чтобы крепким был и не треснул от удара. Второй камень, нижний, выбран у каждого заранее. Есть конечно, которые на чужой пристроиться норовят или пробуют согнать хозяина, но это редко. Шум подымешь, — засветишься и ребят подведешь.

Они сидят у дороги на корточках, положив рядом с собой зеленые побитые уже об землю веники. Ищут камешки и стараются расколоть. Иногда совсем невзрачный камень оказывается на сколе удивительным, ярко-блестящим, и тогда громким ликующим шопотом зовешь ребят, они обступают, дышат тебе в затылок, тянут к камешку маленькие, грязные загорелые ладони. А ты — захочешь, дашь поддержать, захочешь — только из рук покажешь.

Солнце еще не печет, пробивается сквозь кроны древних черных лип вдоль дороги. Непокойным, переменчивым кружевом скользит, колеблется у ног сквозная тень от листвы. Расколотый

камешек надо сначала понюхать и, почувствовав легкий чесночный, дымный запах, кричать шопотом: «Кремень!» Значит, этим камнем, если кто умеет, можно высекать огонь.

Смотришь на шероховатый излом: голубовато-сахарный, или цвета речной воды, или мраморный с темно-металлическими блестящими, вкрапленными в неровную поверхность.

Вожатая Лера никогда их с дороги не гоняла. Сейчас он понимает, не могла Лера их не видеть: сидят в два ряда на корточках на открытом месте, как воробьи на проводах. Видела, значит, а не гоняла никогда.

Сейчас ей лет под пятьдесят, наверное, как ни больше. Дай ей Бог всего хорошего, если жива, тоже ведь, всяко могло случиться.

А какое отличное место выбрала она Киселеву в палате!

Их младший отряд жил в отдельном домике. Домик стоял на отшибе в лесу, огороженный низким штакетником. В одной половине — их отряд, в другой жил суровый начальник лагеря и его добродушная жена с черной полоской усов над ярко накрашенным ртом.

Старших ребят Лера к своим не пускала. Только если у кого из старших брат или сестра в отряде. И правильно не пускала. Никто их не обижал, не отбирал ничего. Жили они в лесу сами по себе.

Входишь в отряд, сначала будет терраска. В дождь они бестолково и весело помогали Лере завешивать стекла терраски одеялами, и Лера показывала им диафильмы. Еще она им сказки читала. Лера хорошо читала сказки.

Но больше всего запомнилась терраска, когда вернешься перед обедом с речки и заходишь в ее душную солнечную жару. Все тело горячее и тяжелое от воды, от солнца, от крутого подъема. Нарочно расслабленно, медленно ступаешь на скрипучие половицы, нагретые солнцем. А в стеклянные квадраты, из которых составлены окна, отчаянно или уже устало, но не желая сдаваться, бьются, гудя, слепни с печальными, огромными радужными глазами.

Дальше за терраской были две палаты: в проходной спали мальчики, а в дальней большой — девчонки. В эту большую палату выступом выходил бок начальниковой печки. Сюда, в уголок, поближе к теплему шершавому печному боку Лера поселила самых маленьких и слабых: мальчишек, девчонок, — неважно. Тогда это и правда было неважно. Здесь и спал Киселев. Когда Лера отлучалась, девчонки любили болтать и хихикать, а после отбоя, громко шлепая босыми ногами, перебегали с кровати на кровать, белея в темноте длинными ночными рубашками. Но к Киселеву они не лезли, в первые дни еще отучил, а сам он плевать на них хотел. Захочет спать — все равно уснет, он и не под такое засыпал.

Место досталось Киселеву отличное. И не только потому, что рядом с печкой. Наискосок от его кровати было окно. В тихий

час Киселев почти никогда не спал, не привык. Он лежал неподвижно на спине и смотрел в окно. А там виден был голубой просвет неба между еловыми ветками, а в небе — красный флаг на мачте над линейкой. Это было торжественно и красиво — красный флаг в голубом небе среди зеленых ветвей. Киселев гордился про себя и никому не говорил, а то начнут завидовать и, может быть, попросят Леру, чтобы спать там всем по очереди.

Киселев смотрел на флаг и думал, что когда вырастет, обязательно будет летчиком на границе. И пусть тогда кто сунется, попробует.

Это потом уже, после первой ходки, он возненавидел красный цвет, люто возненавидел, как затравленный волк. Видеть не мог красного. Но это потом. А тогда он каждый день смотрел и гордился.

Оттуда, из того лета, разбегались в разные стороны сотни, наверное, разных тропок. Одна из них повела за собой его. Так уж оно все вышло, хоть жалей, хоть не жалей, а обратно не переиграешь. И сидит он на чужом диване в чужой квартире — Киселев, он же Бойченко, он же Вороновский, он же Николаев, на вид 35 лет, волосы светлые, нос прямой, особые приметы — татуировки: на груди — изображение тигра, на тыльной стороне левой кисти — кинжал и змея.

Ломился ему чирик, а он ушел, из-под конвоя ушел и долг вернул — там, у кольцевой дороги. А дальше — как будет, так и будет. К одному концу.

Поздним вечером проводил его Ванечка до пруда.

— Будь здоров, отец, — сказал на прощанье Володя. — Отдохнул у тебя, прямо как в Сочах, — и засмеялся, а потом добавил непонятно, — минута тишины.

— Что? — испуганно переспросил Ванечка, ожидая от Володи и на прощанье какого-нибудь подвоха.

— Ничего, так. Спасибо, отец. Пошел я.

Повернулся и бесшумной походкой зашагал вдоль темного берега. Минута, — и исчез, как не было его.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Без Витьки не обходилась ни одна компания, — ни дома, ни в Москве, в общаге. Заводной он был, рыжеватый и глаза рыжие. Сам на гитаре научился играть и песни подбирал под любое настроение.

Витьку до сих пор вспоминает учительница по математике Клавдия Макаровна. Она, бывало, говорила: «Вы с Вити Конюхова пример не берите. Он, если и не выучил, так сообразит».

Жил Витька вместе с матерью и бабкой Дусей. Про его покойного отца бабка любила говорить соседкам так: «Три года

денно и ночью бога молила, и услышал Господь мои молитвы, — убился, зараза, по пьяному делу». Но кроме этого случая, бога бабка вспоминала редко, только праздники соблюдала все подряд: и церковные, и пролетарские, чтоб не хуже, чем у людей и от соседей не стыдно.

Вырос Витька на улице Интернациональной, что тянется вдоль железнодорожного полотна от станции. Долго тянется, пока не упрется другим своим концом в комбинат строительных изделий. Весной и осенью улица утопает в грязи, в любой дом войди, прямо за дверью — целый ряд резиновых сапог всех размеров.

После школы Витька коротал время до армии и собирался потом то ли завербоваться на Север, то ли в плавание уйти. А пока работал на комбинате, — с их улицы все там работали, — и копил деньги на мотоцикл. Мотоцикл он купил, и поддавать стал меньше, все гонял на своей «Яве», катал то Вальку Миронову, то Наташку Маклакову.

Отслужив, Витька, однако, вернулся домой, но долго задерживаться не собирался. Опять гонял на «Яве», на гитаре играл. Друзья-однокласники приходили из армии один за другим, — весело было.

Пока Витька служил, Валька Миронова его ждала, а Маклакова Наташка вышла замуж, и часто, ночью уже, Витька вел всю компанию под ее окна и пел там жалостные песни, — просто так. Ни муж, ни Наташкина родня не выходили, считали, что Витька в своем праве. Наташка нянчила сына Максима и тихо гордилась, что вот как ее любят. Максиму ночные песни не мешали.

Осенью Витька все-таки уехал и объявился только через два года, рассказал, что устроился в Москве. Про то, как и откуда попал в Москву, Витька говорить не любил, отмахивался:

— А, везде один хрен! А так хоть прописка московская.

Работал Витька в министерстве. «У нас в министерстве», — важно начинал он все свои рассказы о Москве. Кем он там, не поймешь, из рассказов получалось, вроде электриком, работа чистая.

С тех пор каждый год, что отсчитала ему судьба, Витька приезжал в отпуск, а когда и на праздники приезжал, если праздники несколько дней подряд. Дома Витьку почти не видели. Друзья его переженились, обзавелись семьями, но подросли новые, теперь Витька гулял с ними и пел для них. На следующий год приедет, — поредела компания, зато новые ребята вернулись из армии весной, и всюду его зовут, и он поет:

*«... Папаши, мамочки,
сестренки, дамочки,
еще не видели
в шинелях нас...»*

На четвертое лето Витька утонул в речке Болотке. Выходной был, собрались компанией, две сумки вина взяли. Витька все

смеялся, показывал ребятам, как нырять надо. И ребята на берегу смеялись. А он нырнул — и не вынырнул.

На поминках у Витьки подрались две невесты: одна московская, а другая местная, Шурка Дугина. Началось с того, чей венок лучше, да так, слово за слово, и получилось. Строги были на улице Интернациональной тетки, а тут не осудили. Есть, значит, любовь на свете. Уж и делить-то нечего, а вон оно как.

Похоронили Витьку рядом с отцом. Очень они на карточках похожи, только отец помоложе немного. Тоже, мужики говорят, свойский был парень. На всех свадьбах на баяне играл.

Г О Л Ы Й

Истории этой теперь уже лет семь, наверное.

Герой этой истории — Юрий Иванович. Так он сам себя называет. Когда знакомится, протягивает руку и говорит: — «Юрий Иванович». Потому его и за глаза так зовут. Правда, с насмешкой, вроде как это прозвище.

Но если ему нравится — пусть.

Юрию Ивановичу 23 года, у него темно-русые кудри до плеч. Когда он в понедельник утром едет в Москву на работу, волосы у него вьются очень красиво, потому что чистые. Лицо у Юрия Ивановича как лицо, ничего особенного, но и не страшный. Одет он в отечественные джинсы, там еще сзади на кармане «Ну, погоди!» и в синюю болоньевую куртку. У Юрия Ивановича есть и шляпа зеленая, поля узкие, а сбоку перышки, мать купила. Но с тех пор, как его два раза подряд мужики на работе оборжали, а какая-то девица в метро громко обознала гегемоном, Юрий Иванович шляпу почти не носит. Только если дома в выходной пойдет с матерью к крестному или куда, чтобы мать не обижалась.

Юрий Иванович работает в Москве на механическом заводе слесарем и в рабочие дни ночует у своей замужней сестры на кухне, а под выходные уезжает домой в деревню Кирилловку, это час сорок на электричке, а потом 12 километров на автобусе, но автобус ходит плохо.

Дома у Юрия Ивановича в шифоньере висит жилетка волосатого синтетического меха, он сам ее сшил из старой материной шубы. Жилетку Юрий Иванович надевает на танцы в дом отдыха «Строитель», если летом, — прямо на голое тело. А на шею — ржавую цепь, на которую батя раньше вешал замок, когда заперил ворота. Сейчас батя совсем допиллся и ворот не запирает, да и чего запирать, если на двери свой замок, а кур мать давно не держит, только грязь от них и морока, а яйца в магазине часто бывают.

Надев цепь и жилетку, Юрий Иванович отправляется в «Строитель». Зимой ребята туда ходят через речку по льду, а летом компанией переправляются на лодках.

Когда на танцах Юрий Иванович приглашает девушку, он сразу ей рекомендует: — «Я — хиппи».

Правда, раз как-то был прикол. Пригласил он девчонку, худенькая такая, метр с кепкой, в штанцах. Темно было, он не разобрался и пригласил. Так вот, она и прицепилась: — «Ах, вы — хиппи! Как это интересно! А какое же у вас кредо?» — Слово «кредо» смутно напомнило Юрию Ивановичу понятное слово «кресло», но было, конечно не то. Тогда она объяснила: — «Ну, что вы делаете, раз вы хиппи? Чем вы, хиппи, отличаетесь от остальных людей?»

Юрий Иванович краснел, пытел, еле отвязался. Потом свет зажгли, он посмотрел, а ей уж лет 30, и такая, навроде учительницы. Ну, ясно, где ей понять? А девчонки молодые особо не вникают хиппи — так хиппи. Хихикают только.

Раньше, после армии, в «Строитель» ходили часто, и так на берегу бухали, костры жгли, но тогда ребят было больше, а сейчас почти все переженались, кто в Москве, кто в поселке. Свои девчонки за своих не очень-то идут, тоже все в Москву ездят работать и хотят выйти замуж обязательно там. Или, на крайний случай, тоже в поселке.

А Юрий Иванович не женат, и когда соседки спрашивают, солидно говорит, что он свою жену еще не встретил, а в Москве все девушки нескромные.

Так что, сейчас дома стало скучновато. Юрий Иванович, когда приезжает, больше возится по хозяйству. Понятно, дома всех дел не обделаешь, а на батю теперь надежды никакой: пьет по-черному, да и мотор что-то барахлить начал.

Сам Юрий Иванович можно считать, что не пьет, — дома нагледелся, — но поддать в компании любит. А как поддаст, всегда начинает рассказывать, как он на Дальнем Востоке в армии служил.

Там ЧП произошло, на подлодке отвязалась ракета. Все, гады, разбежались кто куда, едрена мать, как тараканы. Только они с Андрюхой, с другом, не побежали. А ротный у них был человек, тоже не побежал и приказал им с Андрюхой срочно ликвидировать аварию. И Андрюха погиб, а Юрий Иванович облучился.

Дальше рассказ может пойти по двум направлениям. Если Юрий Иванович еще не очень датый, он расскажет, как прощались с Андрюхой. Когда его в свинцовом гробу отправляли на родину, когда торжественное построение, все в парадках, оркестр на плацу играл Мендельсона траурный марш, и вся рота плакала скупыми слезами. А Юрию Ивановичу ротный доверил сопровождать друга, а дома у него мать, что матери скажешь?

— Почему свинцовый? Цинковый гроб-то, — иногда неуверенно поправят его. Тогда Юрий Иванович долго неодобрительно смотрит на того, кто сказал и, наконец, поясняет:

— А радиация? Забыл?

Если же Юрий Иванович поддал достаточно, а особенно если

в компании есть девушки, он расскажет о своей собственной судьбе:

— Ну, я что? Сравнить с Андриюхой, — это за счастье. 1800 рентген всего-то навсего, — тут Юрий Иванович горько усмехается. — Это уже неживой человек с вами говорит. Разлагаюсь потихоньку изнутри.

И добавляет задумчиво:

— А люди спокойно спали. И не узнали ничего, за кого им всю жизнь молиться.

Служил Юрий Иванович на Дальнем Востоке в стройбате, так что если бы ротный и приказал ему привязать на место оторвавшуюся ракету, Юрий Иванович вряд ли сумел бы это сделать. А друг Андрюха жив-здоров и даже прописался в Мо-окве по лимиту. Просто Юрий Иванович разругался с ним вдрызг, было одно дело.

Юрий Иванович врать вообще-то не любит, но рассказать ему прилично нечего. Чего про стройбат расскажешь? Как в выходные дачу строили какому-то большому начальству? Или как, молодым еще, пол зубной щеткой в казарме драил? Неинтересно.

В тот день была пятница, август месяц, и Юрий Иванович ехал как всегда домой. Девчонку ту он в первый раз заметил, когда сходили с электрички. Его лет, примерно, современная, одета модно, но сдержанно, из чего Юрий Иванович заключил, что не местная: свои уж оденутся, — так оденутся.

Дачники и кто с вещами идут через переходной мостик, а свои налегке прыгают прямо на пути. Девчонка пошла со всеми на мостик, а Юрий Иванович зашагал к концу платформы, потерял девчонку из виду и забыл.

На автобус Юрий Иванович не пошел. У него было в поселке дело: зайти надо было к Сашке Перевозчикову за пленкой. Он эту пленку Сашке дал еще когда, и все никак не мог собраться забрать. А там песни блатные, одесские, что ли, очень хорошо в компании идут. Чебурашка вообще говорит, что это — Высоцкий. Запись плохого качества, не разберешь, а так песни нормальные.

Сашка жил прямо у станции в пятиэтажках, но дома Юрий Иванович его не застал, а Сашкина мать, тетя Клава, искать у Сашки не разрешила, сказала:

— Я ваших делов не знаю, придет потом, развозмущается, — но предложила подождать и накормила щами.

Когда Юрий Иванович доедал с хлебом мясо из щей, послышалось неуверенное царапанье ключа, не попадавшего в пробой. Мать пошла помочь, но это оказался не Сашка, а его младший брат Витька, пьяный вдугаря. Он Юрию Ивановичу обрадовался, достал бутылку из внутреннего кармана куртки и так бухнул ее на стол, что Юрий Иванович даже испугался, не разбил бы. Где Сашка, Витька объяснить не мог, потому что Сашка пил не с ним, а где-то еще. Где пленка, Витька тоже не знал, и Юрию

Ивановичу пришлось уходить ни с чем: Витьке было явно хватит, а он завелся, и тетя Клава совсем озверела.

Юрий Иванович вышел и решил поискать Сашку, если только тот не кирает у кого-нибудь на хате, так-то все места он знал.

На стадионе было пусто, только по полю с визгом носились друг за другом пацаны, да на трибунах под выгоревшим полотнищем «Наша цель — коммунизм!» бухали три каких-то деда.

Дальше Юрий Иванович заглянул в столовую. Там дымно, душно, пахнет, как всегда, мокрыми жирными тряпками, какими стирают со столов. Народу было навалом, — аванс, — но Сашки не было и здесь, и никто не знал, где он.

Оставалась закусочная «Ветерок». Юрий Иванович помнил эти места еще с детства. Тогда здесь стояла пивная, крашеная голубой краской, хотя и без вывески, а звали ее все «Голубой Дунай». Они с батей, когда ездили в поселок в баню, всегда потом сюда заходили. Батя брал водку с пивом, а Юрке покупал шоколадный батончик. У входа в «Голубой Дунай» была огромная лужа с глинистой мутной водой, поверху плавали окурки, а в середине лужи косо лежала старая покрышка. Лужа и покрышка остались, только покрышка за эти годы глубже ушла в глину, а «Голубой Дунай» снесли, и на его месте поставили сборный пластиковый сарайчик, в каких в Москве обычно бывают овощные базары. И называли этот сарайчик — закусочная «Ветерок». Закусить в закусочной даже летом было нечем, кроме рыбных консервов с увядшим луком на тарелочках. А пили там вино из пивных кружек, из-под прилавка своим Валька и водочки могла налить.

Знакомых в «Ветерке» хватало, но Сашки и здесь не было, и Юрий Иванович решил больше его не искать, а выпить пару кружечек и идти домой пешком. Догонит автобус, — он голоснет.

Юрий Иванович пристроился со своими кружками между каким-то дачником и Вовкой Грачевым, с которым вместе учился в восьмилетке. Вовка уже второй месяц оплакивал свою неудачную женитьбу. Юрий Иванович с Вовкой как-то тут пил и историю эту слышал. Во всем была виновата теща, она Вовку еще до свадьбы невзлюбила, а Светка, — она, что мать скажет.

— Я, на фиг, говорю ей, на фиг: «Уедем отсюда на фиг, — горевал Вовка на весь «Ветерок». — А она чего-то не захотела. Вот ты, Юрий Иванович — человек, в натуре, ты скажи...

Юрий Иванович сказал, что возьмет еще кружечку, затерялся в толпе у прилавка и потихоньку смылся.

У поворота на шоссе Юрия Ивановича догнала эта девушка. Он шел, задумался, не слышал, что она бежит, и девушка вдруг оказалась прямо перед ним.

— Извините, пожалуйста, молодой человек. Вы случайно не в Кирилловку идете?

— В Кирилловку, — удивился Юрий Иванович.

— Можно тогда вас попросить, давайте пойдем вместе. А то в автобус я не влезла, машины все не туда, а одной как-то страшно идти.

— Тут 12 кэ мэ, — предупредил Юрий Иванович.

— Ну, что же делать! Понимаете, у меня родители дачу там снимают. Вчера они звонили со станции, договорились, что я приеду. Они беспокоятся будут. А папа после инфаркта...

В общем, они пошли. Девчонка, правда, ему не понравилась. Не в его вкусе. Въедливая какая-то, похожа на ту, что расспрашивала когда-то про хиппи. Та, верно, старая уже, а эта — молодая, но что-то есть.

Однако Юрий Иванович понимал, не годится ей идти одной, и был не против. Даже успокоил девушку, что быстрее всего что-нито их догонит: или автобус, или машина.

Они прошли до конца поселка, мимо больницы. Как всегда, из кустов, напугав девушку, вылезли больные в пижамах дикого цвета и, дыша в сторону, стрельнули покурить. За больницей поселок кончился, вдоль дороги потянулись старые карьеры, потом был поворот к кладбищу, и сквозь деревья стала видна разрушенная церковь с тонкими березками на сквозных остатках купола. И уже было слышно отчаянную музыку из пансионата, — но не только автобус, ни одна машина их не догнала: ни бортовая, ни частник.

Юрия Ивановича слегка развезло, и он начал рассказывать девушке про Дальний Восток. Развезло его не сильно, и можно было ограничиться рассказом, как рота плакала скупыми слезами. Но дорога была дальняя, молчать Юрию Ивановичу не хотелось, а о чем еще говорить, он не знал. И он рассказал девушке про свои 1800 ренген.

— А какая природа на Дальнем Востоке? — спросила девушка. Видно было, что ни Андрухина гибель, ни мрачное будущее Юрия Ивановича особо ее не тронули.

— Природа, — замялся Юрий Иванович, — ну как? Природа как природа. Океан. Сопки. А вообще, не до природы там было, — внушительно добавил он.

— А северное сияние вы видели? — серьезно спросила девушка.

Юрий Иванович не запомнил никакого северного сияния, но может, и видел. Раз оно должно там быть, наверняка видел. И сказал:

— Обязательно.

— И как оно?

— Ну как... Сияет, — нашелся Юрий Иванович.

И это, кажется, тогда он в первый раз услышал за собой шаги. Много шагов. Вроде много человек идет. Может, шаги были и раньше, но Юрий Иванович очень громко рассказывал. Девушка тоже услышала, оглянулась, и вдруг страшно закричала и вцепилась Юрию Ивановичу в рукав.

Юрий Иванович обернулся, и благодушное настроение вместе с остатками хмеля мгновенно с него слетело, и озноб забил, как с хорошего перепоя.

Посредине шоссе в шагах в пяти от них шел совершенно голый парень. Парень был незнакомый. Еще только начинало темнеть,

и его хорошо видно было, даже крупную родинку слева на животе. Лицо парня было неподвижным и хранило мрачное и решительное выражение. А за ним, темно сомкнувшись, шли какие-то одетые люди, много. Их было видно хуже, но тоже вроде знакомые. Все молчали: и голый парень, и те, что шли за ним.

Если бы случилось что-то страшное, но понятное, Юрий Иванович испугался бы меньше. Он попытался спросить не своим каким-то голосом:

— Э, мужики, вы чего?

Но никто не ответил. Голый парень шел отрешенно, словно к какой-то дальней, давно намеченной цели, — а что у него за цель? Юрия Ивановича с девушкой парень вроде бы и не видел. А за ним, шаркая по асфальту подошвами, молча надвигалась толпа, сплоченная и неотвратимая, как наступающее войско.

Юрий Иванович схватил девушку за руку, и они, не сговариваясь, побежали.

Сначала ничего не было, кроме подхватившего их страха, и не слышно ничего, только их собственные отчаянно бегущие шаги и шумное дыхание. Когда шоссе пошло под уклон, Юрий Иванович решился оглянуться.

За ними не гнались. Толпа двигалась так же мерно и ровно, и светлым пятном маячил впереди голый. Это было жутко, но не страшной погони.

Под горку бежать было легче. Внизу Юрий Иванович снова оглянулся. Нет, не гнались за ними. Но, в общем-то, ничего это не значит. Толпа была непонятной, неясно было, чего им надо, и зачем все это. И еще: что будет, если догонят. Даже предсказать нельзя, что они сделают через минуту, — вдруг вот сейчас сорвутся и побегут, все ближе, ближе... Куда денешься?

И, главное, девка эта. Сам-то ладно, в конце концов. Девку надо загородить. А для начала — успокоить, что ли. Не хватит ее надолго.

Юрий Иванович перешел на быстрый шаг и потянул девушку за рукав, чтоб не бежала.

— Хорош, оторвались, — задыхаясь, сказал он.

— Что это? — с ужасом тихо спросила девушка. — Что это было?

— А хрен его знает, — беспечно ответил Юрий Иванович. — Ты, главное, не бойся. Им, вроде того, что не до нас. Тебя как зовут?

— Что? — не поняла девушка.

— Звать тебя как?

— Лю... Людмила.

— Хорошее имя, — похвалил Юрий Иванович, все время сквозь неровное дыхание девушки прислушиваясь, что там, за ними.

Девушка начала заметно отставать.

— Иди ровно. Тебе босой не легче будет? Может, разуешься?

— Не знаю. Я не ходила босиком.

— Ладно, тогда. Ты только иди ровно. Скоро придем, — и усмехнулся, — не бойся, я же с тобой.

Но Юрий Иванович знал, что скоро они не придут, а хуже того, что свернуть некуда. Самое безлюдное место выбрали, гады. Нарочно, что ли? Справа от дороги сизое капустное поле поселкового совхоза. Слева — тоже поле, но пустое, там давно уже ничего не сеяли, и перепаханная когда-то земля пересохла, схватилась комками. Там особо не побегаешь, да и куда бежать? А эти-то, эти что будут делать, если увидят, что они свернули? Пока, считай, ведут Юрия Ивановича и с девчонкой перед собой, как на веревочке. Может, потому и не гнались. А увидят, что свернули — кто его знает...

До Горетова километра четыре. Ближе — ничего. Только на середине где-то поворот на пионерский лагерь «Елочки». Был бы лес, что ли. Там Юрий Иванович, может, закружил бы их, укрыл от них девчонку. Но не будет леса до самого Горетова. Скоро капуста эта кончится, и пойдут-потянутся с двух сторон заброшенные поля, неровно поросшие клочьями сурепки.

И хоть бы одна машина, хоть в какую сторону.

Юрий Иванович все смотрел под ноги, хотел подобрать что-нибудь потяжелее.

Девчонка снова начала отставать.

— Темп! — сказал Юрий Иванович.

— Устала... немножко, — виновато ответила девушка.

Юрий Иванович обнял ее за плечи и повел.

— Надо, чтоб расстояние не сокращалось, — объяснил он, — ты держись, недолго уже. Ты с Москвы?

— Да.

— Ничего городишко. Вот приедешь в Москву, будешь подружкам рассказывать, как мы тут это. А подружки будут не верить. Есть подружки-то?

— Есть.

— Ну вот. И парень, наверное, есть?

— А что это они? Зачем?

— Сказал, не знаю. Не бери ты их в голову. У них свои дела какие-то. — И пока заговаривал ее, все смотрел под ноги и слушал, не ушами даже, а всей напряженной спиной, всем телом, готовый в любую минуту к чему хочешь.

И увидел, наконец, что искал — короткий кусок ржавой трубы на обочине, подходящий такой. Отпустил на минуту девушку, покачнулся, споткнулся вроде и, загораживая собой, поднял с земли трубу.

Заметили они или нет? Поняли, зачем он нагибался?

За ними было тихо. Только шорох шагов за спиной. Много шагов. Трубу Юрий Иванович нес, прижимая к себе, чтобы сзади не видно было.

— Людка, слушай, что скажу. Направо поворот будет. Лагерь там. До него по дороге метров 300. Как подойдем, — бежи

в лагерь. Быстро бежи, как сможешь. Ну, и скажешь там, что чего.

— А вы?

— Я останусь, — хотел сказать «прикрою», на неловко как-то, не война.

Девушка покачала головой:

— Нет, так нельзя.

— Ты слушай, чего говорят, — вроде бы рассердился Юрий Иванович, чтоб она не спорила, — я лучше знаю.

В «Елочках» местных не любят. Там всем кажется, что у местных одна цель в жизни — приставать к девочкам первого отряда. Правда, и местные там почудили в свое время прилично. Но сейчас это неважно все. Девчонке в лагере помогут. Люди же, в конце концов.

Заметно стемнело. Юрий Иванович не знал, хорошо это или плохо.

Замаячил в сумерках указатель у поворота. Кто-то ехал на велосипеде от «Елочек», остановился, соскочил у указателя, смотрит в их сторону.

Юрий Иванович негромко свистнул. Сзади — ничего, только шаги. Свистнул громче. Не уехал бы парень, не напугался бы раньше времени.

— Бежи к нему первая! Быстро!

Девчонка, молодец, поняла. Побежала. Юрий Иванович пошел за ней. Он уже узнал велосипедиста — Колька Мосяков из Горетова, в десятый сейчас перешел. Его брат Валерка до армии с их компанией гужевался. Не повезло малому, во флот попал, третий год дослуживает.

— Коль, — сказал, подходя, Юрий Иванович, — отвезешь вот девушку в Кирилловку.

— А чего это? — тревожно спросил Колька, глядя влево.

— Она расскажет, — отмахнулся Юрий Иванович. — Там зайдешь к Чебурашке и к Михе тети Зоиному, может, они приехали. Скажешь, чтоб собрали толпу. Встретили чтоб.

Конечно, лучше всего было бы забрать велик, а Кольку отправить обратно в «Елочки». Да только сам большой уж лоб, и то не по себе, а пацана одного как с этими бросишь?

Девушка была уже на раме. Она обернулась и, как тогда, спросила:

— А вы как же?

— Пошел быстрее! — прикрикнул Юрий Иванович на Кольку. — Да аккуратней вези, лыцарь!

Юрий Иванович немного пробежал за ними, держась за багажник. Потом отпустил руку и пошел, глядя вслед выходящему велосипеду. Колька выровнял руль и погнал, растворяясь в сумерках.

Юрий Иванович остался один. Сзади — тихо, только шаги.

В руке уже согрелся обломок трубы. И два километра до Горетова.

Перед самым Горетовым — мостик через ручей. И тут, когда Юрий Иванович видел уже, как окна светятся, и мог разглядеть антенны на крайних домах, сзади вдруг, как по команде, зашумели, заговорили.

Юрий Иванович повернулся, крепко стиснув трубу.

Толпа распалась. Голому кинули какой-то сверток, и он, пригибаясь, побежал с ним к придорожным кустам. Остальные смеялись, закуривали, то тут, то там вспыхивали огоньки, освещая склоненные и сложенные розовые, светящиеся изнутри ладони.

Они перестали быть грозной, единой и непонятной силой. Просто ребята, странно, что их можно было бояться.

— Юрка, — крикнул ему из темноты кто-то знакомый, — не бе, Юрик, эксперимент закончен! — Последние слова почти утонули в общем хохоте.

Юрия Ивановича окружили, хлопали дружески по спине, в свободной руке у него оказалась открытая бутылка, и он хлебнул из горла теплый, согретый в чем-то кармане портвейн.

Ребят было человек двадцать. Двое оказались знакомы: один из Горетова, другой из поселка, Шурик Воронин. Еще нескольких Юрий Иванович встречал в поселке и знал в лицо.

— Санила проспорил, — наперебой, смеясь, объясняли ему. — Знаешь Санилу с мастерских? Худой говорит: «Конюшня выигрывает», счет даже угадал, понял? А Санила: «Нет, спартак!» Ну, завели его, — а заводной! — дернули еще вчера с аванса. «Спартак, — говорит, — продует, — голый от больницы до Горетова пойду!»

— А чего ж молчали? — приходя в себя, спросил Юрий Иванович. — Я же спрашивал, вашу мать!

Ребята снова засмеялись:

— А уговор такой был, чтоб молча все. Кто слово, — сам с Санилой голяком пойдет. А то объяснять замучаешься.

Давно это уже было. Лет, наверное, семь.

Юрий Иванович работает все там же и как-то незаметно для себя женился, сеструха познакомила. Жена старше Юрия Ивановича на девять лет, зато от нее до завода всего сорок минут ехать. Она и готовит ничего.

У жены свой сынишка, а когда Юлька родилась, жена пропишала Юрия Ивановича, и теперь они на очереди на трехкомнатную.

Перед свадьбой Юрий Иванович подстригся покороче и теперь так и ходит, а шляпу привез и носит каждый день, только перья жена оторвала.

Домой в Кирилловку Юрий Иванович ездить стал редко, разве что мать передаст, помочь что-нибудь надо. Своя семья, куда денешься. Да и не ладят они чего-то, мать с женой. Бабы.

Про Дальний Восток Юрий Иванович больше не рассказывает:

компания у них по выходным собирается все одна и та же, и потом жена Андрюху знает, Андрюха у них на свадьбе гулял.

По выходным приезжает к ним младший брат жены, тоже с семьей, пацан у них Юлькин ровесник. Включают телевизор, женщины собирают на стол, ребята тут же бегают. И как выпьют, брат жены каждый раз просит Юрия Ивановича рассказать, как за ним голый шел. И Юрий Иванович каждый раз с удовольствием рассказывает, а брат жены и ее сынишка каждый раз с удовольствием слушают.

Только в том рассказе Юрий Иванович идет один. О девушке он не говорит: жена тут, и вообще — *причем здесь девушка?*

Газету «ГУМАНИТАРНЫЙ ФОНД»

читают в 120 городах нашей страны и 50-ти городах мира. Особым успехом она пользуется у читателей, скучающих от официальной прессы и «экспресс-хроники». Если Вы интересуетесь современной культурой и хотите быть постоянно в курсе самых новейших веяний в литературе, живописи, музыке и театральном движении в любых регионах нашей страны и всего мира, оформляйте подписку в любом почтовом отделении, наш индекс 50020. Цена за год — 10 р.

Из газеты «ГУМАНИТАРНЫЙ ФОНД» Вы также будете всегда получать информацию о наших новых книжных изданиях, в частности, сейчас уже открыта подписка на:

Сборник «Мальчик мой дорогой, самый хороший!» — опыты гуманитарной прозы. Составитель Ольга Соколова. Авторы: Игорь Яркевич, Евгений Харитонов, Олег Разумовский.

Жесткая, порой шокирующая откровенность, исповедальность; кризис элитарности, проблемы меньшинства, противостояние индивидуума и власти.

Сборник стихотворений «Пятая сторона». Составитель Ефим Лямпорт. Авторы: А. Егоров, Е. Лямпорт, М. Ромм, О. Соколова, Э. Богатых.

Справочник «Кто есть кто в современном андеграунде?» Составитель С. Гандурина.

Заявки на книги присылайте по адресу: 119034 Москва, Малый Левшинский пер., д. 14/9. ВГФ им. А. С. Пушкина, редакция.

По выходе из печати книги будут высланы Вам наложенным платежом. Справки по тел.: 201-30-79.

АБСТИНЕНТКИ

Сб. женской прозы

Составитель Ольга Соколова

Редактор М. Ромм

Художественный редактор А. Миронов

Корректор Е. Учакина

Формат 60×90¹/₁₆

Печать высокая.

Печ. л. 10³/₄

Тираж 5 000 экз.

Заказ 1704

Цена договорная.

Гуманитарный фонд им. А. С. Пушкина

119034 Москва, Малый Левшинский пер., 14/9.

**Типография Московской с.-х. академии им. К. А. Тимирязева
127550, Москва И-550, Тимирязевская ул., 44**

Газеты “ГУМАНИТАРНЫЙ ФОНД”

читают в 120 городах нашей страны и 50 городах мира. Особым успехом она пользуется у читателей, скучающих от официальной прессы и “экспресс-хроники”. Если вы интересуетесь современной культурой и хотите быть постоянно в курсе самых новейших веяний в литературе, живописи, музыке и театральном движении в любых регионах нашей страны и всего мира, оформляйте подписку в любом почтовом отделении, наш индекс 50020. Цена за год — 10 р.

Из газеты “ГУМАНИТАРНЫЙ ФОНД” Вы также будете всегда получать информацию о наших новых книжных изданиях, в частности, сейчас уже открыта подписка на:

Сборник “Мальчик мой дорогой, самый хороший!” — опыты гуманитарной прозы. Составитель Ольга Соколова. Авторы: Игорь Яркевич, Евгений Харитонов, Олег Разумовский. — ЦЕНА 5 р.

Жесткая, порой шокирующая откровенность, исповедальность; кризис элитарности, проблемы меньшинства, противостояние индивидуума и власти.

Сборник стихотворений “Пятая сторона”. Составитель Ефим Лямпорт. Авторы: А.Егоров, Е.Лямпорт, М.Ромм, О.Соколова, Э.Богатых. — ц. 2 р.

Справочник “Кто есть кто в современном андеграунде?” Составитель С.Гандурина. — ц. 4 р.

Заявки на книги присылайте по адресу: 119034 Москва, Малый Левшинский пер., д. 14/9. ВГФ им. А.С.Пушкина, редакция.

По выходе из печати книги будут высланы Вам наложенным платежом. Справки по тел.: 201-30-79.